

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѦНІЕ.

КРИТИКА.

ЖИВАЯ СТРУЯ.

(Вопросъ о народности въ литературѣ).

I.

Когда старая система идей смѣняется новою, то послѣдняя не сразу обыкновенно подводить подъ свои начала всѣ явленія жизни, современныя ей. Люди новыхъ идей наблюдаются прежде всего, конечно, на такие вопросы жизни, которые стоять на первомъ планѣ и въ данную минуту болѣе всего привлекаютъ вниманіе современниковъ. Подводя подъ новые идеи эти главные вопросы жизни, люди оставляютъ на первыхъ порахъ безъ вниманія второстепенные вопросы и относительно ихъ продолжаютъ придерживаться по привычкѣ старыхъ взглядовъ, основанныхъ на прежнихъ системахъ міросозѣданія и совершенно противорѣчащихъ новымъ идеямъ. Каждому мало-мальски развитому, мыслящему человѣку, который пережилъ не одну умственную ломку въ своей головѣ, по всей вѣроятности приходилось неожиданно находить такого рода пробѣлы въ своемъ мышленіи, натыкаться на такія противорѣчія, побѣдить которыхъ можно было не иначе, какъ перерѣшивши представляющійся вопросъ на основаніи тѣхъ новыхъ идей, на основаніи которыхъ другіе вопросы давно уже были решены. Такіе случаи встречаются нетолько въ мозгу отдельнаго человѣка, ихъ можно найти бездну въ исторіи развитія мысли каждой эпохи и всего человѣчества. Подобный случай произошелъ у насъ въ послѣднее десятилѣtie съ вопросомъ о народности въ литературѣ.

Вопросъ этотъ естественно возникъ вслѣдствія того, что наше образованное общество отдѣлилось отъ народной массы и создало свои особенные нравы и обычай, свой особенный языкъ подъ влияніемъ западной цивилизациі. Но слѣдуетъ замѣтить, что до Гоголя и Бѣльевскаго вопросъ о народности въ литературѣ не игралъ большой роли и не шелъ далѣе очистки языка отъ иностраннѣхъ вліяній, выбора сюжетами произведеній крупныхъ явле-

вій русской жизни и русской исторії, да рѣдкихъ рабскіхъ подражаній народнымъ пѣснямъ и сказкамъ.

Въ 40-е годы вопросъ о народности въ первый разъ былъ поставленъ на философскую почву. Въ это время въ оппозицію западникамъ возникла партія славянофиловъ, которая на своеъ знамени крупными литерами написала: народность. Замѣчательнъ тотъ фактъ, что обѣ партіи, на основаніи одной и той же философской системы Гегеля, рѣшили вопросъ о народности діаметрально противоположно: славянофилы оперлись въ своемъ учении на то положеніе гегелевской философіи, что каждая историческая народность есть носительница своей идеи, которую она владыкаетъ въ сокровищнице развитія человѣчества; изъ этого они прямо вывели, что увлеченіе идеями и формами чужихъ народностей нетолько безполезное, но и положительно вредное дѣло, что оно отвлекаетъ народъ отъ развитія тѣхъ началъ и той идеи, которая онъ обязанъ внести въ исторію человѣчества; поэтому, рѣшили славянофилы, мы должны всячески удаляться отъ усвоенія идей и началъ западной образованности, и въ то же время проникаться нашими собственными народными началами, которые мы готовимся внести въ исторію. Западники въ рѣшеніи вопроса о народности оперлись на то положеніе гегелизма, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго, форма, въ которую владыкается общая идея человѣчества. Форма эта вырабатывается исторіею, природою, она дается намъ помимо нашего сознанія и какихъ-либо стремленій, такъ же какъ и личная наша физіономія; поэтому мы нетолько не имѣемъ надобности стремиться къ народности, напротивъ того, намъ трудно отрѣшиться отъ нея, еслибы мы и хотѣли; примѣромъ этого можетъ служить французская литература XVIII вѣка, которая при всей своей подражательности образцамъ классической литературы, все-таки оставалась народною въ томъ смыслѣ, что выводимые ею на сцену герои болѣе были похожи на французовъ версальской атмосферы, чѣмъ на героеvъ древности. Стремиться къ народности, говорили западники, это значитъ стремиться къ формѣ, не заботясь о содержаніи ея; напротивъ того, главное наше стремленіе должно заключаться въ томъ, чтобы вливать въ эту форму общечеловѣческое содержаніе; въ концѣ же концовъ, отрѣшаясь все болѣе и болѣе отъ временныхъ и узкихъ формъ народностей, человѣчество должно стремиться къ тому, чтобы слиться въ одну общечеловѣческую форму, которая бы носила въ себѣ общечеловѣческое содержаніе.

Въ силу этихъ идей, при оцѣнкѣ тѣхъ или другихъ литературныхъ произведеній, славянофилы имѣли главною задачею рѣшать, на сколько произведеніе проникнуто началами, сродными русскому духу; западники же рѣшили разъ навсегда, что каждое произведеніе, написанное русскимъ, такъ или иначе, непремѣнно народно, непремѣнно выражаетъ ту или другую сторону характера русской народности; главная же забота при оцѣнкѣ того

или другого произведения заключается въ томъ, чтобы определить, какія общечеловѣческія начала заключаетъ въ себѣ оно.

Философія Гегеля потеряла свое господство надъ русскими умами въ концѣ 50-хъ годовъ. Она смѣнилась новыми началами, господствующими въ настоящее время подъ именемъ *реализма*. Подводя разные вопросы жизни подъ свои начала, реализмъ прежде всего позаботился перерѣшить вопросъ о цѣли и значеніи литературы въ жизни общества. Это было дѣломъ первой важности въ нашей жизни, обусловливаясь тѣмъ значеніемъ, которое играть въ нашей жизни литература. Но занявшиись подведеніемъ подъ новые условія вопроса о значеніи литературы, мы сдѣлали огромный пробѣлъ, оставивши совершенно въ сторонѣ вопросъ о народности въ литературѣ. Вопросъ этотъ, какъ мы увидимъ ниже, рѣшается самъ собою въ практической сферѣ въ силу насущной потребности рѣшить его такъ или иначе; въ теоретической же сферѣ онъ до сихъ поръ почиваетъ на старыхъ гегеліанскихъ началахъ. Уже не говоря о славянофилахъ, которые, конечно, перестали бы быть и славянофилами, еслибы хоть на одинъ шагъ подвинулись отъ философіи Гегеля, наши самые ревностные послѣдователи реализма не замѣчаютъ, что, реалисты во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, они продолжаютъ оставаться истыми гегеліанцами по вопросу о народности. Когда они начнутъ толковать вамъ о томъ, что литература должна быть реальна, что, не ограничиваясь однимъ безцѣльнымъ, отвлеченнымъ созерцаніемъ прекраснаго, она должна служить жизни, отвѣчая на всѣ ея животрепещущіе вопросы, попробуйте замѣтить при этомъ, что не мѣшаетъ также, чтобы она была и народною, и я убѣжденъ, что при этомъ вы встрѣтите снисходительную улыбку и замѣчаніе, въ родѣ того, что это вопросъ совершенно излишній, что существуетъ въ сферѣ той или другой народности, литература не можетъ не быть народною, что подобные вопросы могутъ быть оставлены славянофиламъ и всякаго рода обскурантамъ, а мыслящимъ людямъ слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы литература имѣла достойное ей содержаніе. Однимъ словомъ, вы услышите совершенно тѣ же самыя слова и выраженія, которыя говорили о народности западники 40-хъ годовъ, опираясь въ своихъ доводахъ на гегелевской философіи, доказывавшей, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго.

Междуду тѣмъ, какъ, если вопросъ о народности въ литературѣ мы попробуемъ пересадить на почву реализма и утилитаризма, если мы рѣшимъ его на основаніи тѣхъ новыхъ идей, которыхъ получили господство у настѣ въ послѣдніе 10 лѣтъ, мы увидимъ, что это не только не излишній вопросъ, напротивъ того, первой важности, вопросъ о судьбѣ всей литературы; имъ обусловливается какъ истинная реальность, такъ и полезность литературы.

Реализмъ, не строя никакихъ отычененныхъ системъ, не гадаю о сущности явленій, изучаетъ ихъ, какъ они представляются нашимъ чувствамъ, восходя отъ частнаго въ общему, отъ слу-

чайныхъ и отдельныхъ, къ общимъ условіямъ, называемымъ міровыми законами. Съ этой точки зрѣнія народность представляется не индивидуализациею общаго, какъ полагалъ гегелизмъ, а напротивъ того, обобщеніемъ индивидуального. Поселите отдельныя, разрозненныя племена подъ общія условия жизни, и они сольются въ одну нераздѣльную народность, какъ слились бритты, англо-саксы и нормане въ англичанъ, а поляне, древляне, сѣверане и проч. — въ русскихъ, а съ другой стороны — поставьте отдельныя части общей народности въ различныя условия жизни, и народность ваша разсѣпется на отдельныя народности, и послѣднія будутъ группироваться опять-таки по тѣмъ общимъ условіямъ жизни, подъ которыми будетъ жить каждая. Еслибы для каждого человѣка условия жизни были совершенно отличныя, не имѣющія ничего общаго съ условиями жизни другихъ людей, въ такомъ случаѣ, на земномъ шарѣ не было бы народностей, а была бы одна безконечная индивидуализація. Но кроме тѣхъ особыхъ условій для каждого человѣка, которыя создаютъ его личную индивидуальность, люди живутъ подъ тѣми или другими общими условиями, результатомъ которыхъ является та или другая народность. По отношенію къ расѣ народность является, пожалуй, въ свою очередь индивидуальностью, но по отношенію къ отдельнымъ людямъ, она есть общность, она есть сумма тѣхъ общихъ признаковъ, которые характеризуютъ массу людей, живущихъ подъ одними и тѣми же условиями. Индивидуальная особенность, народность, раса — это три такихъ условия жизни, безъ которыхъ невозможно изучать человѣка, какъ невозможно изучать растеніе и животное, не опредѣляя рода и вида, къ которому оно принадлежитъ. Истинно реальная литература, имѣя дѣло съ изученіемъ жизни людей, конечно, только тогда и будетъ истинно реальная, когда она станетъ изучать жизнь не въ ея отвлеченныхъ сущностяхъ, а въ тѣхъ условияхъ, въ какихъ она проявляется. Поэзія, построенная на абстрактныхъ началахъ, совершенно пренебрегала этими условиями; она говорила: мнѣ все равно, русскаго, француза или нѣмца вывожу я на сцену; барина или крестьянинна, разница между ними только формальная, сущность же человѣческая у всѣхъ у нихъ одна и та же; вотъ эту-то сущность я и имѣю въ виду. Реальный же поэтъ говорить: сущности человѣческой я не знаю, да мнѣ до нея вѣтъ и дѣла, а я вижу человѣка не иначе, какъ подъ вліяніемъ разныхъ условій жизни, виѣ всакихъ условій я человѣка представить себѣ не могу, и я изучаю, какъ представляется человѣкъ подъ вліяніемъ этихъ условій. Поэтъ живеть не иначе, какъ въ средѣ того или другаго общества, именуемаго народомъ. Онъ изучаетъ индивидуальные особенности каждого человѣка не для того, чтобы поглотиться въ массѣ индивидуализма, но чтобы это индивидуальное подвести подъ общее; первыми обобщеніями реальнаго поэта являются, такъ-называемые, на языкѣ эстетики, образы, типы, сюжеты,

болѣе или менѣе общіе; но развѣ можетъ истинно-реальный поэтъ остановиться на чёмъ-нибудь? Развѣ есть конецъ тому процессу, который называется реальнымъ изученіемъ? Восхода все выше и выше въ своемъ изученіи, реальный поэтъ поневолѣ придется къ той общности, которая называется народностью. Изучить свой народъ во всѣхъ условіяхъ его жизни, во всѣхъ формахъ ея и проявленіяхъ, проникнуться всѣми его общими интересами, его радостями и страданіями — вотъ истинная задача реального поэта. Но достигнуть всего этого, вѣдь это значитъ сдѣлаться не только реальнымъ поэтомъ, но и народнымъ, въ самомъ широкомъ, истинномъ значеніи этого слова. Такимъ образомъ, понятія о реализмѣ въ поэзіи и о народности совершенно совпадаютъ; разница между ними только та, что реализмъ въ литературѣ есть извѣстный путь, цѣль которого — народность.

Далѣе, если мы поставимъ вопросъ о народности въ литературѣ на почву утилитаризма, вопросъ этотъ получитъ въ нашихъ глазахъ еще большее значеніе. Литература должна быть полезна — для кого? Очевидно, не для двухъ, не для трехъ, не для тысячи человѣкъ, а для всего края, для всего народа, на языке котораго она существуетъ. Литература мечтаетъ о завидной цѣли быть воспитательницей общества, народа, развивать неразвитыхъ, образовывать необразованныхъ, подымать такие вопросы жизни, которые долго не пошевелились бы еще въ мозгахъ большинства нашихъ соотечественниковъ безъ ея содѣйствія.

При этомъ я прошу читателя обратить вниманіе на завидную роль, которую можетъ и должна играть изящная литература въ этомъ дѣлѣ. Если мы прослѣдимъ наше собственное развитіе, оглянемся вокругъ себя наблюдательными взглядами, мы увидимъ, что чѣмъ на низшей степени развитія стоитъ человѣкъ, тѣмъ большее значеніе въ развитіи его имѣть художественная литература. Въ жизни каждого человѣка былъ такой периодъ, въ который чтеніе его состояло исключительно изъ произведеній художественной литературы; только на извѣстной, значительной уже степени развитія мы начинаемъ мало-по-малу приступать къ чтенію книгъ серьёзного, научнаго содержанія, и, наконецъ, доходимъ до такой степени, что послѣднія дѣлаются главнымъ средствомъ нашего развитія, а художественные произведенія становятся для насъ не столько предметомъ развитія, сколько наслажденія и отдыха. Большинство людей даже такъ называемаго образованнаго слоя общества, выписывающихъ журналы, ничего не разрѣзываетъ въ этихъ журналахъ, кроме романовъ, повѣстей, комедій и стихотвореній. Чѣмъ же сказать о литературѣ, которая, мечтая развивать неразвитыхъ, представляется въ своихъ произведеніяхъ такие образы, и на такомъ языке, что только нѣкоторые избранные, стоящіе на относительно очень высокой степени развитія, могутъ пользоваться ею.

Въ этомъ отношеніи литература, развивая людей развитыхъ,

образуя людей образованныхъ, очень похожа на педагогическое заведение, которое дѣйствовало бы такимъ образомъ: учителя вмѣсто того, чтобы давать уроки ученикамъ, ограничивались бы тѣмъ, что собирались на педагогические совѣты, сообщали другъ другу, что они читаютъ, о чемъ думаютъ, давали бы другъ другу полезные совѣты, читали другъ передъ другомъ блестящія пробные лекціи, такие учителя могли бы быть очень полезны другъ для друга; но смѣшны были бы они, еслибы при этомъ они мечтали, что они въ то же время полезны и для массы учениковъ, пребывающихъ безъ книгъ, безъ уроковъ въ неподвижномъ невѣжествѣ подъ присмотромъ грозныхъ губернѣровъ, строго-наблюдающихъ за порядкомъ и благочинiemъ въ классахъ. Такое зре- лище представляетъ литература наша, которая въ послѣднее время постоянно твердила, и твердить, что главная ея цѣль—служеніе народу. Подобное положеніе представляется еще неестественіе и нелѣпѣ, если подумать, что народъ прямымъ или косвеннымъ путемъ оплачиваетъ существованіе этой литературы, и въ замѣнъ тѣхъ капиталовъ страны, которые затрачиваются ежегодно на произведеніе и изданіе разныхъ эстетическихъ произведеній россійской литературы, получаются книжки, которые служатъ предметомъ празднаго развлеченія для немногихъ избранныхъ людей. Мы могутъ сдѣлать здѣсь такое возраженіе, что капитали тратятся не даромъ въ томъ смыслѣ, что раньше или позже народъ когда нибудь да разовьется до пониманія нашихъ изящныхъ произведеній, и тогда воспользуется тѣми продуктами, на произведеніе которыхъ тратятся теперь капиталы. Но, воверхъ, ручаетесь ли вы, что для народа будутьгоды всѣ тѣ изящныя произведенія, которые выходятъ въ настоящее время? Оглянемся назадъ и посмотримъ, сколько различныхъ литературныхъ школъ пало безвозвратно, смѣнившись новыми школами? Чѣмъ такое паденіе школы, какъ не сознаніе ея заблужденія и не выходъ изъ этого заблужденія на свѣтъ? Неужели народъ долженъ будетъ воспринимать одинъ за другимъ всѣ наши старые грѣхи и промахи? Станеть ли народъ читать, и если станетъ, найдеть ли что-нибудь поучительного въ разныхъ произведеніяхъ нашей литературы ложно-классическихъ, романтическихъ, идеалистическихъ и проч.? Чѣмъ же такое всѣ эти произведенія, какъ не капиталы, безслѣдно похороненные въ архивной пыли библіотекъ? А вовторыхъ, еслибы даже всѣ прошлия произведенія нашей литературы были поучительны для народа, то какъ же разовьете вы его до пониманія ихъ, если не заговорите съ нимъ языкомъ, вполнѣ понятнымъ и доступнымъ для него, если не снизойдете къ нему? Конечно, подобное снисше- ствіе къ народу должно заключаться не въ видѣ уступокъ разнымъ его вѣковымъ предразсудкамъ, какъ это думаютъ поклонники народности стоглавой Москвы; передавайте народу всѣ ваши глубокія и высокія идеи, заимствованныя съ Запада, но облекайте ихъ въ такой языкъ и въ такие образы, чтобы онъ былъ

для всѣхъ равно доступны и понятны. Важное преимущество самобытной народной поэзіи заключалось именно въ томъ, что, не стоя народу ни гроша, она была сокровищемъ, изъ кото-раго каждый уогъ черпать сколько ему угодно, и только тогда литература будетъ истинно полезна для всего края, для всего народа, когда она снова сдѣлается народною въ этомъ смыслѣ слова.

Но выставленіе подобныхъ требованій отъ литературы, какъ бы оно ни было законно и справедливо, всегда будетъ казаться воздушною мечтою, праздною, неосуществимою утопіею, въ виду современаго состоянія литературы нашей, если не будетъ уважанъ путь, идя по которому, литература могла бы выйти изъ настоящаго своего состоянія и сдѣлаться вполнѣ народною. Вѣдь не могутъ же литераторы наши съ сегодняшняго же дня дать себѣ слово писать такъ, чтобы каждый мужикъ понималъ ихъ отъ строки до строки и интересовался ихъ произведеніями. Въ противномъ случаѣ, они должны будутъ, садясь писать, поступать такъ, какъ поступаютъ разные составители народныхъ книжекъ, то-есть напишутъ фразу и давай думать: «понятна или нѣть должна быть эта фраза для простолюдина?» Такая неестественность такого способа поддѣлыванья подъ народность ярко выставляется въ каждой строкѣ многихъ книжекъ, написанныхъ для народа, особенно въ изданіяхъ Г. Погоссаго; не менѣе смѣшна такая народность въ рѣчахъ разныхъ провинціальныхъ либераловъ, которая произносилась нѣкогда на земскихъ обѣдахъ, дававшихся въ честь сліянія сословій. Очевидно, что не такой народностью должна подарить нась литература. Истинно-народное произведеніе просто, естественно и непривольно выливается изъ-подъ пера писателя; народный писатель пишетъ свои произведенія такъ же, какъ и пенародный, то-есть нисколько не заботясь о томъ, чтобы произведеніе его вышло непремѣнно народно: синъ не имѣть ничего иного въ виду, какъ выразить свою мысль, чувство—и произведеніе его выходить народно безъ его вѣдома и желанія. Сдѣлаться народнымъ писателемъ — запачтъ, выработать свой языкъ, свои поэтические образы, мысли и чувства такимъ образомъ, чтобы писать народною рѣчью о предметахъ, интересующихъ всѣхъ и каждого, безъ всякихъ усилий и заботъ о популярности. Этого нельзя достигнуть никакимъ скачкомъ, никакою искусственною поддѣлкою. Это достичжимо только естественнымъ путемъ. Настоящая статья могла бы, действительно, показаться праздною фантазіею, еслибы ограничилась выставленіемъ требованій, не опредѣливши того естественаго пути, идя по которому, литература можетъ удовлетворить этому требованію. Указаніе этого естественного пути и составляетъ главную цѣль моей статьи. И это тѣмъ удобнѣе возможно будеть сдѣлать безъ всякихъ гадательныхъ и произвольныхъ приглашеній съ нашей стороны писателей идти направо или налево, что въ самой литературѣ начались уже инстинктивно, безъ вся-

иихъ теоретическихъ указаній, помыги идти по этому пути. Попытки эти, въ ряду разныхъ заблужденій, опошлившихъ и изгадившихъ истинное стремленіе къ народности въ литературѣ, представляютъ отрадную, живую струю, которой готовится великая будущность. Вырвавшись въ 40-хъ годахъ на свѣтъ, струя эта не перестаетъ течь все шире и шире, все глубже и глубже, принимая въ себя разные притоки и готовясь обратиться въ широкую, многоводную рѣку. Дѣло наше будетъ состоять только въ томъ, чтобы опредѣлить направление этой струи въ настоящее время, и это направление само собою, безъ нашихъ усилий, укажетъ нашимъ писателямъ тѣть путь, который прямо и неуклонно можетъ повести ихъ къ народности.

II.

Славянофилы, сѣтуя на раздвоенность нашего общества, на отсутствіе всякой связи между искусственными поэзіею нашей и народной, причину такого явленія видятъ исключительно во вліяніи на насъ западной образованности и рабской подражательности съ нашей стороны формамъ ея. Въ сущности же, если мы разберемъ это явленіе глубже, мы увидимъ, что есть причина болѣе дѣйствительная и общая, вліяющая на вское раздвоеніе народа — будеть ли это раздвоеніе сопровождаться вліяніемъ чуждой цивилизациі, или совершится оно домашній образомъ. Мы просимъ при этомъ припомнить, что мы сказали въ первой главѣ объ образованіи народностей: каждый разъ, когда группа людей становится въ какія нибудь особенные условія жизни, необходимымъ слѣдствіемъ этого является образование народности, владѣющей особыннымъ языкомъ и создающей свою особенную литературу. Этамъ обусловливается какъ появление нарѣчій, говоровъ, разновидностей одного народа, такъ и то раздвоеніе, какое совершается между массою и образованнымъ классомъ. Если образование разлито равномѣрно по всему народу, и если народъ, во всей своей массѣ, увлечется подражаніемъ какой нибудь чуждой образованности, въ такомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи о ненародности такого движенія: народное движение и есть именно такое, въ которомъ участвуютъ массы народа. Если же, напротивъ того, изъ среды народа выдѣлится группа людей, поставитъ себя совершенно въ иные условія жизни, чѣмъ тѣ, въ которыхъ живетъ большинство населенія края, замкнется въ этихъ условіяхъ и изолируется отъ всего прочаго міра, въ такомъ случаѣ, еслибы не было никакихъ чуждыхъ вліяній, группа эта все-таки создастъ свои особенные нравы, обычаи, языки и литературу. Если затѣмъ на сторонѣ этой группы будутъ материальныя богатства и умственный досугъ — однимъ словомъ, все, что способствуетъ къ быстрому развитію образованности, то естественно, что эта группа далекоope-

редить въ своей образованности прочіе классы народоиселенія и создать культуру, въ которой ничего не будетъ общаго съ культурою массъ, оставленныхъ ею назади. Если до Петра Великаго наши привилегированные классы представляются вполнѣ сходными въ своей культурѣ съ народными массами, то это потому, что они не успѣли еще создать своей собственной культуры, въ то время какъ рядомъ существовала высокая цивилизациѣ, влиянию которой они и подчинились. Но тотъ уже фактъ, что привилегированные классы могли подчиниться влиянию западной цивилизациѣ, а масса не могла, показываетъ, что эти классы представляли уже въкоторую особенность сравнительно съ массами, большую умственную гибкость и восприимчивость. Классы эти стояли во время Петра на томъ пути, что не будь влияния западной образованности, они раньше или позже по своему положенію создали бы свою особенную образованность и искусственную литературу въ отличіе отъ народной поэзіи массъ. Таково происхожденіе искусственной литературы у всѣхъ народовъ. Продолжите вы исторію литературы у какого хотите народа, у каждого вы увидите два противоположныхъ движенія, соотвѣтствующія общественному строю страны. Какъ только привилегированный классъ выдѣляется изъ массы народа и замыкается въ свой кругъ, онъ быстро создаетъ искусственную литературу въ отличіе отъ народной. Литература эта, игнорируя интересами массы, выражаетъ исключительно ту жизнь, которую живетъ этотъ классъ и съ его точки зрѣнія. Но послѣ быстраго процвѣтанія такая искусственная литература столь же быстро падаетъ, потому что скоро исчерпываетъ свой матеріалъ: для поэтическаго творчества необходимы новые впечатлѣнія, страсть которыхъ и возбуждаетъ его; а когда жизнь смыкается въ тѣсномъ кружкѣ въ неизмѣнныя формы, то поэтъ только и остается, что вѣчно пѣть одну и ту же пѣсню, которая подъ гонецъ всѣмъ прѣдается, теряеть свою живость и дѣлается рутинною пошлостью. Выходить изъ такого печального состоянія литературы можетъ быть только какое-нибудь живое, народное движеніе, которое размыкаетъ заколдованный кружокъ образованныхъ классовъ, обращаетъ вниманіе ихъ на интересы массы, на ея нравы, обычай, вѣрованія и поэзію; изъ самой массы начинаютъ выходить пѣвцы ея жизни и стремленій. Тогда въ литературѣ начинается обратное движеніе отъ искусственной поэзіи къ народной, въ область ея вторгаются новые, живые, свѣжіе элементы, характеризующіе собою движенія народныхъ массъ. Такія два противоположныхъ движенія литературы и зависимость ихъ отъ общественныхъ условій мы можемъ отлично прослѣдить въ исторіи европейскихъ литературъ въ средніе вѣка. У насъ существуетъ ложное понятіе, завѣщанное намъ романтизмомъ, что будто въ средніе вѣка литература западно-европейскихъ народовъ стояла постоянно на народной почвѣ, что искусственная литература, прервавшая всякую связь съ народнію, началась съ эпохи гене-

зансе. Напротивъ того мы видимъ, что если было когда либо въ средніе вѣка господство народной поэзіи, то въ началѣ только ихъ, во времена движеній народныхъ массъ и завоеваній, извѣстныхъ въ исторіи подъ именемъ великаго переселенія народовъ. Когда же народы успѣли усѣсться на своихъ мѣстахъ и повсюду сформировались привилегированія, рыцарскія сословія, старинныя эпическія саги и поэмы дѣлаются достояніемъ простаго народа, да предметомъ монастырской учености, занимавшейся собраніемъ и переписываніемъ ихъ. Въ привилегированныхъ же классахъ быстро создается особенная, искусственная литература, извѣстная подъ именемъ провансальской или романтической. Литература эта, воспѣвавшая подвиги и любовь королей и рыцарей, исключительно терлась при дворахъ и въ замкахъ. Самое название одного изъ главныхъ родовъ этой поэзіи *sirventes* (отъ слова *servire* — служить), то-есть служебныя пѣсни, показываетъ, какое значение имѣла эта поэзія и какую роль играли пѣвицы ея — трубверы. Отражая въ себѣ жизнь, нравы, стремленія рыцарства, ихъ войны, любовь, любезность и придворное остроуміе, ихъ сколастическую ученость, наконецъ даже и либерализмъ, заключавшійся въ порицаніяхъ пороковъ Рима и духовенства, трубверы въ то же время до такой степени игнорировали жизнью и стремленіями народныхъ массъ, что въ своихъ пасторетахъ вмѣсто живыхъ людей изъ народа представляли идеаллическихъ пастушковъ и пастушекъ. Провансальская поэзія быстро распространилась по всей Европѣ; всѣ дворы, всѣ замки начали подражать ей, подобно тому, какъ впослѣдствіи совершилось такое же подражаніе въ образованныхъ классахъ Европы французской литературѣ XVIII вѣка. Но если въ другихъ странахъ Европы искусственность провансальской поэзіи соединялась съ подражательностью, то во Франціи и особенно въ Провансѣ она была самобытнымъ явленіемъ, возросшимъ на своей собственной почвѣ, и все-таки она была искусственнымъ цвѣтомъ на этой почвѣ, и послѣ пышнаго процвѣтанія должна была падть, потому что кругъ ея быть слишкомъ узокъ и материальная ея скоро весь быль исчерпанъ. Хватило этого материала всего на 200 лѣтъ (1090—1290), затѣмъ провансальская поэзія хотя и продолжала существовать, но вѣчно повторяла одно и то же въ неизмѣнныхъ формахъ, съ каждымъ вѣкомъ становясь рутиной и пошлѣ. Хотя провансальскій король Рене въ XV вѣкѣ и старался всячески воскресить ее, но безуспѣшио; это было послѣднимъ сверканіемъ потухающей лампы. Если на своей собственной почвѣ романтизмъ такъ неудержимо палъ, то на чужихъ почвахъ, гдѣ ему подражали, паденіе его было еще неудержимѣе. XIV вѣкъ представляетъ самое жалкое состояніе искусственной рыцарской и придворной литературы во всѣхъ странахъ Европы. Начавшаяся вслѣдъ затѣмъ реформація служитъ точкою поворота для всего умственного движенія Европы. Вліяніе движенія народныхъ массъ на литературу въ эпоху реформаціи было таѣ

сильно, что несмотря на возрождение древнихъ искусствъ и увлеченіе ими, въ литературахъ XIV и XV вѣковъ мы видимъ сильное и неуклонное стремленіе къ народности, выдвинувшее во всѣхъ странахъ Европы писателей чисто народныхъ. Вотъ какъ прекрасно характеризуетъ это движеніе въ Германіи Шерръ въ своей Всеобщей истории литературы:

«Потребность поэтическаго выраженія опять проявилась въ народѣ въ то время, когда городское сословіе и народъ получили то соціальное положеніе, которое до XIV и XV столѣтій занимало исключительно дворянство; когда войны гусситскія, распри нѣмецкихъ городовъ съ разбойническою шайкою дворянъ, славные побѣды Дитмарсовъ на сѣверѣ и швейцарцевъ на югѣ Германіи надъ визьями и рыцарями, пробудили демократическое сознаніе. Историческая народная пѣсня вытѣснила рыцарскую поэзію, превратившуюся въ сухое иносказаніе и панегирикъ. Такія пѣсни весело раздавались въ предѣлахъ Гольштиніи и въ Альпахъ. Превосходную пѣсню сочинилъ Гальбустерь «von dem stritt ze Lemprach»; Фейтъ Веберь въ концѣ XV столѣтія прославлялъ бургундскія битвы, особенно битву при Муртенѣ; къ нимъ можно присоединить и Мугейма съ его «Tellenlied». Нетолько историческая, но и вообще вся жизнь народа отпечатлѣвается въ тогдашней пѣснѣ. Крестьянинъ пѣлъ за плугомъ о страдавшихъ и радостяхъ своего угнетенного состоянія, мельникъ сопровождалъ стукотню своей мельницы звучною рилемою, ратникъ сокращалъ себѣ путь воинственными гимнами и сатирическими пѣснями, юноша и девушка раскрывали другъ другу сердечныя тайны въ пѣсняхъ, часто удивительно задушевныхъ; не отставали отъ нихъ монахъ и монахиня, странствующій ремесленникъ означалъ свой приходъ и уходъ въ правѣтственныхъ и прощальныхъ пѣсняхъ, благочестивою пѣсню привѣтствовалъ богомолецъ священные мѣста, огорченный изливалъ въ пѣснѣ свою грусть, веселый — радость; охотникъ, извозчикъ, ницій, угольщикъ, рудокопъ, пастухъ, садовникъ, виноградарь — все они выражали въ пѣсняхъ все, что ихъ занимало, все, что они испытали и сдѣлали въ жизни. Кѣмъ сочинены эти пѣсни — неизвѣстно, и потому о нихъ можно сказать то же, что о вѣтре — мы чувствуемъ ихъ вѣяніе, но не знаемъ, откуда они приходятъ и куда уходятъ. Лимбургская хроника мѣтко характеризуетъ эту народную любовь къ пѣснѣ: она говорить о народныхъ пѣсняхъ и приводить такія, «которыя, ко всеобщей радости, распѣвались и наставистывались во всей Германіи». Число историческихъ народныхъ пѣсень необыкновенно умножилось, когда во времена реформаціи народная жизнь получала все большее и большее развитіе и когда политическія события стали возбуждать къ себѣ все болѣе живой и решительный интересъ и въ низшихъ сословіяхъ. Предметомъ ихъ были особенно герой и события реформаціи и крестьянской войны, раздоры князей между собою и съ

императоромъ, итальянскія распри Карла V и Франциска I и турецкія войны».

Относительно Англіи достаточно упомянуть имя такого титана, какъ Шекспиръ, чтобы ясно и наглядно видѣть, какое движение въ пользу народности произвела въ литературѣ реформаціи. Особенно заслуживаетъ вниманіе то, что въ одно время съ Шекспиромъ жилъ Бенъ-Джонсонъ, который все время воевалъ съ Шекспиромъ, будучи увлеченъ классической драмою съ тремя единствами; самъ Шекспиръ не былъ чуждъ некотораго увлечения классицизмомъ, сказавшимся въ его драмахъ изъ греческаго и римскаго міра; но народность взяла перевѣсь въ трагедіяхъ великаго драматурга и громы Джонсона не помѣшили Шекспиру быть въ свое время любимцемъ лондонской публики и въ особенности простаго народа.

Во Францію реформація вторглась въ самой своей дурной формѣ кальвинизма и коснулась преимущественно привилегированныхъ классовъ, но и во Франціи новое движение умовъ вызвало Рабеле, который подготовилъ умы своихъ соотечественниковъ къ восприятію реформаціонныхъ идей, осмѣявши своимъ чисто народнымъ, реальнымъ смѣхомъ все старое общество съ его ханжествомъ, сколастикой и напыщеною неестественностью романтизма.

Даже въ Испаніи, где реформація была потушена въ своихъ зачаткахъ, появился Сервантесь — и осмѣялъ падающее рыцарство съ его истощенной литературою. Но значеніе Донъ-Кихота заключается не въ одномъ смѣхѣ, а и въ тѣхъ чисто-народныхъ элементахъ, которые внесъ Сервантесь въ свой романъ въ оппозицію выдохшемуся содержанію романтической литературы.

III.

Совершенно такое же явленіе мы можемъ прослѣдить въ нашей жизни за послѣдніе 200 лѣтъ. Отчужденность, изолированность нашихъ образованныхъ слоевъ отъ народныхъ массъ была столь сильна, что не такъ давно еще подъ словомъ «русское общество» разумѣлось небольшое меньшинство народа, исключительно образованный слой его, а подъ словомъ «русская жизнь» — разумѣлась жизнь этого слоя. Все, что не принадлежало къ этому меньшинству, какъ будто не существовало, все это крестилось общимъ именемъ «подлой черни, грубой массы, мертваго прозябанія». Когда литература наша послѣ упадка нового романтизма встала на реальную почву, начала изображать окружающую ее жизнь, она занялась изображеніемъ жизни и нравовъ одного образованного меньшинства, въ средѣ котораго вращалась. Когда появились на сцену Онѣгини, Печорины, Рудини, Лаврецкіе и проч., тогда по этимъ именамъ начали судить и умозаключать о жизни и характерѣ не только русского человѣка вообще, но даже всего славянскаго племени, какъ-будто все славянское племя состояло въ

то время изъ нѣсколькихъ тысячъ говоруновъ, ходившихъ во фракахъ съ палевыми перчатками и читавшихъ Гегеля отъ нечего дѣлать. Правда, иногда наши писатели 30-хъ годовъ выводили на сцену личности изъ простаго быта (Полевой, Лажечниковъ, Загоскинъ, Вельтманъ), но выводимыи ими личности или похожи были скорѣе на аркадскихъ пастуховъ и пастушекъ, чѣмъ на живыхъ людей, или это были жалкія пародіи на мужиковъ, въ которыхъ народъ продолжалъ играть ту шутовскую роль, которую игралъ онъ въ глазахъ высокообразованныхъ предковъ нашихъ XVIII ст., любившихъ похокотать надъ смѣшнымъ невѣжествомъ подлой черни.

Литература могла ограничиваться такою исключительностью до тѣхъ поръ, пока интересы меньшинства, въ средѣ котораго она вращалась, не выходили изъ его замкнутаго круга, да и въ этомъ кругу не простирались далѣе семейного очага. Но когда общественные интересы расширились, когда на первый планъ встали вопросы о судьбѣ той самой массы, о которой прежде рѣдко кто помышлялъ, литература не могла болѣе сосредоточиваться въ своемъ узенькомъ мірѣ, чтобы не оставить безъ отвѣта тѣ новые вопросы, которые со всѣхъ сторонъ поднялись въ обществѣ: она должна была заняться изученiemъ жизни и вправовъ той самой массы, которой прежде она такъ гнушалась. Остюда естественно возникло стремленіе литературы въ народности, то-есть стремленіе ея къ изученiuю народа во всѣхъ его слояхъ, и проникновеніе интересами народа.

Первыми нашими изучателами народнаго быта были, конечно, славянофилы. Но для того, чтобы изучать что-нибудь, надо приступить къ предмету изученiя какъ въ сырому, невѣдомому матеріалу, безъ всякихъ предвзятыхъ теорiй и предразсудковъ. Въ этомъ заключается истинный реализмъ всякаго изученiя. Таковы ли были наши первые изучатели? Нѣть, они шли изучать народъ съ заранѣе уже, а priori задуманными мнѣніями о немъ. У нихъ въ головѣ сидѣлъ идеаль русскихъ богатырей, готовыхъ завидѣть шапками гнилую Европу, и они шли изучаться у гениальнаго народа незарѣченнымъ глаголамъ. Всѣдѣствие подобныхъ, заранѣе составленыхъ предубѣжденiй, они умiялись, прислушиваясь къ каждому слову, произнесенному простолюдиномъ, и повсюду открывали доблести русскаго духа и чудеса русской гениальности. Это возведенiе въ идеаль народной жизни, какова она есть, безъ всякаго анализа ея, послужило оправданiемъ всевозможнаго обскурантизма во имя народности. Рядомъ съ дѣйствительными, реальными симпатiями и антипатiями народа, выходящими изъ различныхъ условiй его быта и отношений его къ разныимъ слоемъ общества, существуетъ у народа рядъ предразсудковъ, выработанныхъ исторiею; предразсудки эти давно отжали, народъ не особенно ими и дорожить, заявляетъ нѣрѣдко даже и протесты противъ нихъ, но масса продолжаетъ держаться ихъ по старой рутинѣ. Очень ча-

сто случается и такъ, что свои реальные симпатіи или антипатіи народъ облекаетъ въ разныя ветхія формы своихъ предразсудковъ. Такъ, онъ начинаетъ особенно честовать и чуть не обоготворяетъ личности, которые дѣйствовали въ его пользу; напротивъ того, въ личностяхъ ненавистныхъ ему по тому злу, которое онѣ производили, онъ видѣть или нехристей, измѣнившихъ православной вѣрѣ, или злыхъ колдуновъ, продавшихъ душу чорту, и даже антихристовъ. Вмѣсто того, чтобы отѣлить реальныя симпатіи и антипатіи народа отъ призрачныхъ, наши поклонники народности нетолько что смѣшиваютъ безразлично все это въ одну массу, но очень часто въ призрачныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ именно и видать всю суть народныхъ стремлений. Такъ, напримѣръ, самъ по себѣ народъ нисколько не чуждается западной образованности; едва только позволяетъ достасть, простолюдинъ не прочъ обзавестись разными заморскими диковинками и даже перемѣнить свою серыгу на европейскій костюмъ; народъ нисколько не чуждается иностранцевъ, если они являются передъ нимъ не въ видѣ нѣмца-управителя фабрикъ или имѣнія; посмотрите вы на русскихъ матросовъ, которые зачастую братаются и пьють вмѣстѣ съ английскими и голландскими матросами. Но толькъ же самый народъ недовѣрчиво смотритъ на каждого образованнаго человѣка, носащаго европейскій костюмъ. Такая недовѣрчивость происходитъ изъ причинъ самыхъ реальныхъ, въ родѣ разныхъ сословныхъ предразсудковъ, основанныхъ на отжившемъ уже крѣпостномъ правѣ; наши же поклонникамъ народности кажется, что народу не нравится, зачѣмъ это образованные люди одѣваются поевропейски, читаютъ иностранныя книги, водятся съ иноземцами, зачѣмъ это они не носятъ бородъ, не пьютъ квасу и не парятся на полѣ въ бани, зачѣмъ они, однимъ словомъ, измѣнили русскимъ народнымъ обычаямъ и нравамъ и увлеклись иноземціей. Если всѣ эти причины возбуждали въ народѣ вражду, то это было уже очень давно при Петрѣ I, 200 лѣтъ тому назадъ. Въ эти 200 лѣтъ масса народа если и не успѣла еще приобрѣсти никакой образованности, то во всякомъ случаѣ хоть на одинъ куриній шагъ подвинулась впередъ сравнительно съ массой временъ Петра I; подвинулась на столько, что не смотрить уже, какъ на измѣнившаго православной вѣрѣ, на человѣка, брѣющаго бороду и ходящаго въ сюртукѣ, и если до сихъ поръ еще сохраняются среди раскольниковъ такие изувѣры, то сами раскольники въ большинствѣ начинаютъ смотрѣть гораздо свидѣтельнѣе и на иностранные обычай, и на самыхъ иностранцевъ.

Нагляднымъ примѣромъ возведенія въ идеаль разныхъ народныхъ предразсудковъ могутъ служить повѣсти г-жи Кохановской. Писательница эта обладаетъ какъ замѣчательнымъ талантомъ, такъ и замѣчательнымъ знаніемъ народной жизни, и тѣмъ болѣе становится жалко, что пойдя по ложной дорогѣ, она погубила свой талантъ, который могъ бы принести большую пользу. Возь-

мите вы какую угодно повѣсть ея, и рядомъ съ истинными и несомнѣнными фактами народной жизни, вы увидите пошлии и вошлющія натяжки для того, чтобы подвести эти факты подъ славанофильскія тенденціи и процитать ихъ запахомъ деревянного маслица.

Возьмите вы, напримѣръ, повѣсть ея «Послѣ обѣда въ гостяхъ». Въ этой повѣсти всего арче выступаютъ передъ вами съ одной стороны факты народной жизни, а съ другой неестественнѣй, очевидно предуманный конецъ повѣсти для того, чтобы возвеличить такъ называемыя народныя начала и совершилъ передъ вами земной поклонъ. Въ повѣсти этой писательница описываетъ бытъ захолустнаго города XVIII столѣтія, когда подобные города мало еще чѣмъ отличались отъ деревень, когда по улицамъ ихъ водили еще хороводы. Героинею разсказа является Любовь Архиповна, дѣвушка съ характеромъ сильнымъ, живымъ, натура художественная, удалая. Сюжетъ разсказа самый простой и общенародный. Дѣвушка любить молодаго, но бѣднаго горожанина Чернаго, а мать приводитъ ее выходить замужъ за стараго и некрасиваго коммиссіонера. Въ повѣсти вы найдете нѣсколько сценъ, въ которыхъ чрезвычайно живо и вполнѣ въ народномъ духѣ представленъ протестъ молодой жизни противъ зла и насилія, губящаго ей жизнь. Когда Любовь Архиповну повѣнчали съ противнымъ ей коммиссіонеромъ, ей захотѣлось отпраздновать въ послѣдній разъ праздники молодости:

«Ну, какъ я тебѣ сказала, матушка, что сердце у меня завалило, говорила она: — такъ оно у меня и осталось. На мужа-то я не гляжу и не вижу его; матушка мнѣ какъ чужая стала, одно только то, какъ погляжу на сестерь, кажется бы я имъ душу свою горькую отдала! Вотъ-то положили намъ на завтра выѣзжать, я говорю послѣ обѣда матушкѣ: «Утопили вы мою голову на вѣки-вѣчные; пусть же я въ послѣдній разъ огланусь на свою радость дѣвическую, на долю мою молодую безвозвратную. Идите себѣ, куда знаете, на вечеръ и его берите съ собою. Чтобъ его духу тутъ не было. Я хочу проститься съ своими».

— Что же матушка? спросила я.

— Да ничего, сказала Любовь Архиповна. Она стала тиха такая да смирилась; все на меня смотрѣть. «Любаша моя, Любаша! Ну, Богъ съ тобой, говорить, дѣлай какъ знаешь! Развѣ я тебѣ худа желаю?»

— То-то до добра и довели, говорю. Берите же его съ собою, чтобъ мои глаза его хоть съ часть мѣста не видали.

— А онъ, Любовь Архиповна? спрашивала я.

— Что онъ, матушка? Мнѣ о немъ и заботы не было. Я и звать-то его иначе не называла, какъ онъ, да ею. «Что жъ? говорю, развѣ вы все будете такъ за мною слѣдомъ ходить? Идите себѣ съ матушкою, а я останусь свой послѣдній разъ пирожить. Вы со мною не жили, дѣвичьей моей доли и воли вы не дѣлили, ста-

ло вамъ нечего и быть тутъ, какъ я стану прощаться со всѣмъ тѣмъ». Поплелся онъ, матушка, а я протоцопскимъ барышнимъ вѣдѣла сказать, чтобы онъ, черезъ своего философа, всѣхъ нашихъ господъ оповѣстили, что я всѣхъ жду свой послѣдній пары пировать».

За тѣмъ слѣдуетъ сцена этого пира, поистинѣ трагическая. Страшно щемить за сердце хороводъ и пласка молодыхъ людей, въ то время, какъ у всѣхъ на сердцѣ скребли кошки: «Я подъ собою земли не слыхала», говорила Любовь Архиповна. Никогда въ жизни, ни прежде, ни послѣ она звонче не пѣвала и не писала такъ... «Я будто и пріустану немнога и хороводъ словно начнетъ ослабѣвать у насъ, такъ нѣтъ! Черный, какъ зальется, засвистать съ стиха и громче своимъ голосомъ—и словно отъ силою какою могутною двинетъ насъ! Опять хороводъ оживъ, встрепенулся, и я пошла съ нимъ, съ Чернымъ, въ одиночу пласать»...

— Наконецъ, матушка! сказала Любовь Архиповна: — отпѣсала я всѣ свои пласки и перепѣла всѣ мои пѣсни. Начала было эту послѣднюю:

Изъ-за лѣса, лѣсу темнаго
Вылетало стадо лебединое;
А другое — гусиное.
Отставала лебедушка
Прочь отъ стада лебединаго,
Присставала лебедушка
Что во стаду во сѣрыхъ гусей...

И такъ дальше: что отставала такая-то прочь отъ красныхъ дѣвушекъ и приставала она къ молодымъ молодушкамъ, я, матушка, не кончила. «Будетъ! говорю, пѣсня кончена... Поврощаемся, мои барышни, на разставанья. Гдѣ я съ вами пѣла и писала, тамъ вы меня обнимите и отпустите отъ себя, мои бѣлые лебедушки!» И словно съ меня силу мою всю какъ рукой сняло. Прислонилась я къ дереву, чтобы устоять мнѣ... И дерево это, я какъ сейчасъ помню, большая верба у матушки среди двора была. Мы ее сколько разъ обхватывали въ хороводъ, а еще пласать подъ нею такъ чудно было. Вѣтки большія все въ пнеѣ, наклономъ наклонились; мы какъ двинемъ подъ нихъ хороводъ и зальемся нашей пѣснею, таѣтъ вся верба шорохомъ шорохается и сверху пнеемъ осыпаетъ насъ... Такъ вотъ къ вербѣ-то своей я прислонилась, матушка, и стою, не двигаюсь. Барышни все, одна по одной, подошли ко мнѣ, подѣловали меня, и всякая мнѣ низко поклонилась. Я имъ слова никакого не молвлю, стою, поглядѣла вокругъ по одну сторону, онѣ отошли, стоять, мои голубочки, по другую сбились въ кучку наши добрые молодцы... «Ну-те; а вы же что? говорю, развѣ я вамъ не хорошо пѣсни пѣвала, или не весело писала съ вами, что, таковы молодцы, вы и попрощаться со мною не хотите?» Чер-

ный, матушка, слова не сказалъ, подошелъ первый ко мнѣ; наклонился, врѣпко поцѣловалъ меня, а слезы у него какъ брызнутъ, такъ и задали мнѣ лицо... Я посмотрѣла ему вслѣдъ. «Прощай, добрый молодецъ!» говорю, онъ и не оборотился; пошелъ прямо къ воротамъ и только назадъ рукой махнулъ. Такъ они всѣ подошли ко мнѣ и попрощались со мною. Философу нашему послѣднему пришелъ чередъ. Онъ и приступилъ ко мнѣ; но видно, взглянувши на меня поближе, какъ всплеснуль руками. «Ахъ, братцы мои, сестрицы голубочки! завопилъ, голосомъ: Любовь Архиповна совсѣмъ умираетъ». — «Не бось, сказала я. Еще поживу, и пошла отъ него въ домъ».

Такъ совершилось одно изъ тѣхъ нагдыхъ, гадкихъ, безчеловѣчныхъ убийствъ молодой жизни, убийствъ, которыя совершаются на каждомъ шагу совершенно безнаказанно во имя такъ-называемой старческой опытности и желанія блага своимъ дѣтамъ. Чтѣ же оставалось болѣе дѣлать Любовь Архиповнѣ, какъ не уводить въ тѣжкую неволѣ, и что оставалось писательницѣ, какъ не закончить этимъ старую, я въ то же время вѣчно новую исторію. Но писательницѣ вздумалось во имя христіанскихъ идей мало того, что оправдать, чутъ не обоговорить дѣло, въ которомъ нетолько и тѣни не было чего-либо христіанскаго, но и вообще человѣческаго. Далѣе она разсказываетъ, какъ Любовь Архиповна долго жила съ мужемъ, будто съ чужимъ, не говоря съ нимъ ни слова и не глядя на него, и потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего подъ обаяніемъ свѣтлаго праздника нашла на нее божественная благодать, она умилилась, заплакала слезами, кинулась на шею къ мужу, облобызала его и — полюбила!... Вотъ что называется тянуть пальцемъ прямо въ небо! Чтѣ-жъ остается, прочти повѣстъ г-жи Кохановской, какъ не преклониться передъ народными начальами, которая совершаютъ такія неизреченные чудеса!... И вотъ такія прелести вы найдете въ каждой повѣsti г-жи Кохановской. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе и болѣе подавала деревянного маслица въ свои повѣсти, наконецъ дописалась она до «Недавней встрѣчи», въ которой уже нѣть ни образовъ, ни лицъ, а вы найдете цѣлыи потокъ мистическихъ разглагольствованій о суетѣ міра сего въ духѣ «переписки съ друзьями» Гоголя. Такъ паль талантъ по истинѣ замѣчательный, и не мудрено: даже такой геніальный талантъ, какъ Гоголь, и тотъ упалъ въ пропасть, едва вступилъ на этотъ путь.

IV.

Но, рядомъ со всѣми этими заблужденіями, опошлившими стремленіе литературы къ народности, въ 40-хъ и 50-хъ годахъ уже начали появляться времена отъ времени попытки изучать бытъ народный и выводить на сцену людей изъ разныхъ слоевъ общества — вполнѣ реально, не какъ образцы величия

русского духа и не въ видѣ гороховыхъ шутовъ для праздной потѣхи, а какъ живыхъ людей, имѣющихъ свои достоинства и пороки, радости и страданія. Всѣ писатели того времени: Тургеневъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ заплатили свою посильную дань этому новому направленію литературы. Правда, эти первыя попытки были крайне несовершены; если нѣкоторы изъ нихъ и высоко стоятъ по своей вѣнчайшей художественности, то во всакомъ случаѣ далеко не представляютъ того глубокаго знанія народной жизни, какая требуется отъ русского писателя. Вы видите по этимъ попыткамъ, что писатели приступаютъ къ предмету, который до тѣхъ поръ былъ совершенно чуждъ имъ и который они только-что начинаютъ изучать. Всѣдѣствіе плохаго знанія жизни, которую берутся они изображать, они часто вносятъ въ нее элементы той жизни, которой сама живутъ и которая хорошо имъ знакома. Вы можете въ этомъ обвинять тѣ обстоятельства, которые довели нашихъ писателей до такого исключительного, замкнутаго состоянія, что имъ былъ знакомъ единъ только маленький уголочекъ русской жизни. Но не будемъ обвинять въ этомъ самихъ писателей; не будемъ опускать изъ виду того, что одного желанія изобразить жизнь какую-либо малую: надо еще знаніе этой жизни; а для знанія нужно изученіе, а изученіе дается только временемъ и обстоятельствами, способствующими къ этому. Не могли же писатели наши сразу, какъ только захотѣли изображать народную жизнь, таѣть и начать изображать ее во всей глубинѣ. Такія чудеса могутъ быть допускаемы только по старой эстетической теоріи поэтическаго ясновидѣнія. Въ дѣйствительности чутые поэтическаго творчества простираются на столько, на сколько поэтъ изучилъ предметъ своего творчества. Если мы видимъ, что знаніе народной жизни въ нашихъ писателяхъ 40-хъ годовъ еще не глубоко, что поэтому изображенія этой жизни поверхностны и несовершены, то во всакомъ случаѣ, мы должны быть благодарны писателямъ, сдѣлавшимъ первую попытку изображать народъ, какъ живыхъ людей, безъ излишняго поклоненія этимъ людямъ и безъ высокомѣрно-презрительного отношенія къ нимъ.

Но и въ этомъ ряду первыхъ попытокъ, мы видимъ уже степени большаго или меньшаго знанія народной жизни. Тамъ из-примѣръ, крестьяне въ «Запискахъ охотника» Тургенева являются болѣе похожи на дѣйствительныхъ крестьянъ, чѣмъ въ романахъ Григоровича. «Подлиповцы» Рѣшетникова, очерки Івантова, «Торговая Волга» Зарубина, «Порѣчане» Помаловскаго, «Записки изъ Мертваго дома» Ф. Достоевскаго, очерки В. Сѣнцова, Н. Успенскаго, П. Якушкина, Марко-Вовчекъ и многи другія произведенія современной литературы представляютъ новые явленія въ этомъ родѣ. Но, несмотря на относительную вѣрность изображенія народнаго быта, всѣ упомянутыми произведеніями далеко еще не могутъ быть названы народными. Для того, чтобы писателю сдѣлаться народнымъ

обходныи некоторые особенныи условия, о которыхъ мы теперь поговоримъ.

Когда человѣку представляется рядъ разнообразныхъ предметовъ для изученія, и человѣкъ начнетъ изучать ихъ, то очевидно, что первое вниманіе его будетъ обращено на разные конкретные подробности и факты, особенно выдающіеся; человѣкъ начинаетъ вглядываться въ каждый предметъ отдельно и каждый предметъ изучать безъ связи его съ другими предметами. Затѣмъ мало по малу начинаютъ слагаться въ умѣ человѣка первыи обобщенія и классификаціи предметовъ, и то поверхностныи, шаткіи и невѣрныи. Такимъ путемъ шли всѣ науки, начиная описаніемъ конкретныхъ фактovъ. Такимъ путемъ идетъ и наше изученіе народной жизни. Всѣ наши повѣсти, разсказы, очерки, комедіи изъ народной жизни стоять еще на степени болѣе или менѣе конкретныхъ изображеній. Писатели наши берутъ обыкновенно какой-нибудь уголокъ народной жизни, подмѣченный въ жизни фактъ, и этотъ фактъ или представляютъ читателю, какъ онъ есть, въ сыромъ видѣ, или разомъ подводятъ подъ какой-нибудь общечеловѣческій законъ жизни. Такія изображенія народной жизни очень напоминаютъ описанія разныхъ отдельныхъ травъ въ старинныхъ лѣчебникахъ, безъ всякаго стремленія обобщить эти травы въ различныхъ классификаціяхъ. Чтеніе подобныхъ очерковъ для человѣка, незнакомаго съ народной жизнью, очень похоже на разсмотрыванье въ микроскопъ листочка въ то время, какъ не только что не имѣшь никакого понятія о родахъ и видахъ растеній, но не знаешь, съ какого дерева сорванъ листокъ. Смотришь въ микроскопъ, ну и ничего, любопытно; а перестаешь смотрѣть, что останется въ головѣ? конкретный, безсвязный образъ листка, какъ онъ представлялся твоему глазу подъ микроскопомъ.

Въ этомъ отношеніи на первой ступени знанія народной жизни мы должны поставить г. Н. Успенскаго. Писатель этотъ въ своихъ очеркахъ представляетъ ту степень знанія, на которой человѣкъ не имѣеть еще никакихъ понятій о тѣхъ предметахъ, которые онъ наблюдаетъ; передъ нимъ представляется пестрая смѣсь конкретныхъ явлений, и онъ каждое разсмотриваетъ отдельно, безъ связи съ другими, обращая вниманіе на одну виѣшность наблюдаемыхъ предметовъ. Большинство очерковъ Г. Успенскаго представляется случайно-скваченными изъ жизни сценками и анекдотиками: какой-нибудь разговоръ на постояломъ дворѣ, разсказъ проѣзжаго мужика, купца или бабы — все, что удалось г. Успенскому мелькомъ увидѣть или услышать — все это онъ такъ и передаетъ какъ оно есть. Ограничиваюсь фотографическими снимками случайныхъ сценъ жизни, г. Успенскій думаетъ, можетъ быть, что онъ этимъ вполнѣ выполнилъ задачу реализма. Но если реализмъ требуетъ, чтобы художникъ изображалъ жизнь, какъ она есть, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ

допускаль художнику теряться въ массѣ конкретныхъ фактовъ. Обобщать эти факты, изслѣдоватъ ихъ причины и слѣдствія, переходить къ общимъ условіямъ отъ частныхъ явлений — вотъ чего требуетъ реализмъ, какъ отъ науки, такъ и отъ искусства. И въ этомъ отношеніи разбираемыя нами очерки стоятъ на первой ступени реальнаго изученія быта народа, такъ-сказать, передъ самыми входомъ въ это зданіе. Впервыхъ, вы видите въ рассказахъ г. Успенскаго полное отсутствіе того, что называется типами. Когда писатели наши начинаютъ изображать хорошо известный имъ и тщательно изученный бытъ образованныхъ слоевъ общества, посмотрите, какъ тщательно стараются они обрисовать различные характеры своихъ героевъ, какъ тонко анализируютъ каждый психическій оттѣнокъ, каждое біеніе чутъ замѣтной жилочки, и все это съ цѣллю представить вамъ въ своемъ герой общий типъ цѣлой массы людей подобнаго рода. Посмотрите, какъ заботливо старается очертить въ своемъ разсказѣ «Саша» тотъ же г. Успенскій молодую дѣвушку, которую родители приводили въ идиотъ идти замужъ за немилаго, какъ силился онъ представить трагическую борьбу, совершающуюся въ душѣ его героя. И тотъ же г. Успенскій, когда дѣло касается простаго народа, не ведетъ въ своей обрисовкѣ далѣе пестрой смѣси мужиковъ и бабъ. Иногда, чтобы отличить одного героя отъ другаго, писатель одному пожалуетъ рыжую бороду, другому — черную, третьему — приставить вакую-нибудь уродливую шишку въ виску, четвертаго — заставить повторять на каждомъ словѣ какую-нибудь поговорку — и внѣшность готова. Затѣмъ, каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какого и свѣтъ не производилъ; каждая баба — такая идютика, что ума помраченіе. Далѣе садѣется подборъ фактиковъ, сценокъ и анекдотовъ для того, чтобы показать, какъ русский мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, какъ онъ загнанъ, забитъ, какъ тонеть онъ въ грязи невѣжства, суевѣрія, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ г. Успенскаго — одурачтъ васъ, когда вы читаете очерки его. Вы видите передъ собою людей, которые въ жизни своей ничѣмъ болѣе не руководствуются, какъ только грубою, скотскою чувственностью, ни къ чему не стремятся. Какъ только къ тому, чтобы нажить копейку или спустить ее въ бабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ, что шагъ ступить они, то сдѣлаютъ вакую-нибудь невообразимую глупость.

Я вовсе далекъ отъ того, чтобы идеализировать русскаго мужика, какъ это дѣлаютъ славянофилы. Я согласенъ съ г. Успенскимъ, что мужикъ забитъ, загнанъ, что онъ невѣжественъ и суевѣренъ, но въ то же время, я убѣжденъ, что какъ бы онъ былъ человѣкъ задавленъ, на какой бы низшей степени образованности онъ ни стоялъ, а все-таки онъ человѣкъ — и все-таки онъ страдаетъ, если къ Ивану относятся не почеловѣчески, и эти страданія, такъ или иначе, въ томъ или другомъ видѣ, а за-

явить себя. Если наши бабы действительно безъисходно тупоумны до такой степени, что въ нихъ и тѣни нѣть чего-либо человѣческаго, то какія же это женщины создали пѣсню такого рода:

Ахъ кабы не цвѣты, не морозы,
И зимией бы цвѣты разцвѣтали;
Ахъ кабы на меня не кручиня,
Ни о чемъ бы то я не тужила.
Не сидѣла бы я подпершия,
Не глядѣла бы я въ чисто поле.
И я батюшкѣ говорила,
И я свѣту моему доносila,
Не давай меня батюшкa замужъ,
Не давай, государь, за неровню,
Не мечтись на большое богатство,
Не глади на высоки хоромы:
Не съ хоромами жить мнѣ, съ человѣкомъ,
Не съ богатствомъ жить мнѣ, съ союзтомъ.

Конечно, если мы будемъ искать въ жизни простаго народа однихъ такихъ элементовъ, которые создаютъ подобная пѣсни, то мы придемъ къ той идеализаціи народнаго быта, при которой намъ только и останется, что почивать въ нѣмомъ благоговѣніи передъ народными началами; но если такая идеализація ведеть къ застою, то съ другой стороны отрицаніе всякихъ человѣческихъ элементовъ въ простомъ быту ведеть къ такому же обскурантизму. Во имя чего же и возможенъ протестъ противъ произвола и насилия, бажъ не во имя тѣхъ человѣческихъ элементовъ, которые страдаютъ отъ этого. Вамъ не придетъ въ голову возмущаться противъ столяра, зачѣмъ онъ жестоко обращается съ деревомъ, долбить его долотомъ и терзаетъ на части, но вы возмущаетесь, когда истязаютъ лошадь. Въ послѣднемъ случаѣ протестъ возбуждается не тѣмъ только, что передъ вашими глазами происходитъ фактъ истязанія, а тѣмъ, что отъ этого истязанія страдаетъ существо, надъ которымъ производить это дѣйствіе. Страдающее существо первое заявляетъ протестъ противъ причиняемаго ему зла криками или словами, и посредствомъ послѣднихъ передаетъ вамъ свой протестъ. Всѣдѣствіе этого члены общества покровительства животныхъ требуютъ, чтобы хорошо обращались съ животными, но имъ и въ голову не придетъ протестовать, зачѣмъ лошадь не пользуется полной равноправностью со своимъ хозяиномъ. Они знаютъ, что въ лошади, когда она стоитъ въ конюшнѣ передъ стойломъ, ни разу не шевельнется горькаго чувства, что вотъ ее, которая такъ вѣрно служитъ хозяину, и на порогъ его комнаты не пускаютъ; еслибы въ лошади хоть разъ могъ проявиться подобный протестъ, онъ навѣрное нашелъ бы отзывъ въ тысячѣ сердцахъ. Что особенно поддерживало у насъ крѣпостное право, какъ не то вкоренившееся въ массѣ образованныхъ людей мнѣніе, что русскій музыкъ — почти что безсловесное, лѣнивое, пьянное животное, что

надъ вимъ можно дѣлать, что угодно, что безъ розогъ съ нимъ нельзя обходиться, что розги причиняютъ ему одну физическую боль и никакъ не дѣйствуютъ на его загрубѣльную нравственную природу, что мужикъ никакъ не возмущается противъ своей неволи, что, напротивъ того, онъ пропалъ бы, еслибы его освободили, какъ грудной младенецъ, брошенный на улицу. Въ чемъ же должна заключаться цѣль реальной поэзіи, какъ не въ томъ, чтобы изучивши бытъ народа, проникнуть въ сердце простаго человѣка, на самой низшей степени развитія уловить крикъ и протестъ противъ неправды и выставить этотъ крикъ на первый планъ, какъ доказательство того, что какъ бы ни было нравственнѣе мужикъ, а онъ все-таки человѣкъ; и, какъ человѣкъ, имѣть право на всѣ человѣческія блага. Гг. Тургеневъ, Григоровичъ и Писемскій — въ былое время, когда они были еще молодые писатели, стояли на этомъ пути и старались изучать человѣческіе элементы въ быту простаго народа. Г. Успенскій, хотя и цѣлымъ поколѣніемъ моложе ихъ, но видно сильна во всѣхъ насть старая закваска, и горе тому писателю, который добросовѣстно, старательно не поработаетъ надъ изученіемъ народнаго быта, а будеть дѣлать дѣло спустя рукава, и не привозить своихъ высоко развитыхъ мозговъ, чтобы подумать, какъ недалеко отошелъ онъ отъ своихъ отзывъ и дѣдовъ, если продолжаетъ ничего не видѣть въ мужикахъ, какъ безсловесныя слововъ и слуховъ. Немного нужно было подумать г. Успенскому, чтобы понять, какимъ обоядоострымъ оружиемъ играетъ онъ. Прочтите разсказы «Хорошее житѣе», «Змѣя», «Поросенокъ» и многіе другіе; г. Успенскій рисуетъ въ этихъ очеркахъ тупоуміе и отсутствіе всякаго здраваго смысла въ мужикахъ для того, чтобы внушить вамъ, до какого печальнаго положенія доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставленные имъ, могутъ служить отличными доказательствами необходимости того же самого крѣпостнаго права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опираются въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостнаго права, и очерки г. Успенскаго могутъ доставить отличный матеріалъ для нихъ; они еще болѣе убѣдятъ, прочитавши эти очерки, что крестьяне, предоставленные сами себѣ, погибнутъ по своей глупости, чуть-что не съѣдѣть другъ друга. «О какомъ же тутъ народномъ самоуправлениі толкуете вы, возвратъ гг. Катковъ или Скарятинъ, прочитавши разсказъ г. Успенскаго «Хорошее житѣе», коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кроме взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ озитія другъ друга?»

Что такие факты существуютъ, что ихъ слѣдуетъ выставлять какъ печальные слѣдствія всей прошлой жизни нашего крестьянства, я никакъ противъ этого не спорю, но рядомъ съ этими фактами писатель обязанъ выставить факты другаго рода, которые показали бы, что самоуправлѣніе въ средѣ народа возможно и необходимо. Этихъ фактовъ въ очеркахъ г. Успенскаго нетъ;

онъ вѣдь не знаетъ; онъ не позаботился изучить ихъ; онъ не пошелъ даще рутинаго, пошлого взгляда на мужика, какъ на осиноваго чурбана, и этотъ взглядъ не замедлилъ привести г. Успенскаго къ такимъ возврѣніямъ, которые ставятъ его солидарнымъ съ тенденціями «Вѣсти». Такъ въ своихъ «Деревенскихъ письмахъ» г. Успенскій вдругъ, ни съ того, ни съ сего, разражается слѣдующою тирадою:

«Вѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужаго труда; онъ не имѣеть понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ!»

Подобная тирада совершиено въ скандинавскомъ духѣ какъ-то странно бѣть въ глаза среди статьи, въ которой вы найдете много вѣрныхъ замѣчаній и наблюдений. Появление подобнаго пошлого приговора свысока только и можно объяснить, что поверхностныи взглядомъ на предметъ, о которомъ пишетъ писатель, недостаткомъ основательнаго изученія предмета и полнымъ отсутствиемъ хотя малѣйшаго напряженія мысли.

Неизмѣримо выше, если не по знанию народной жизни, то по таланту стечь г. В. Слѣпцовъ. Какъ писатель талантливый, г. В. Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывается порою г. Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманиѣ, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоять не безцѣльное обличеніе пресловутаго «невѣжества мужика», какъ у г. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоять къ крестьянину нашему администраціи, совершенно чуждая быту его. Но въ очеркахъ г. Слѣпцова вы видите то же отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у г. Успенскаго, то же ограниченіе случайными сценками, мелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношенія администраціи къ быту крестьянина — это громадный вопросъ, который требуетъ глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этими отношеніями обусловливается не одно комическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. Г. Слѣпцовъ ограничился одною комической стороною; да и для характеристики этой комической стороны г. Слѣпцовъ выбираетъ постоянно такие рѣдкіе, случайные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставитъ вамъ мужика, который заплатилъ деньги писарю, чтобы его поскорѣе высѣти (см. Ночлегъ, Р. Оч. Сд. Сл. ч. I, стр. 155), то онъ изобразитъ вамъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы по случаю негодныхъ свиней, испугавшихъ лошадей особы (разсказъ «Свиньи»), то онъ разсмѣшитъ васъ представивши какъ крестьяне пьяного приняли за мертваго и что изъ этого вышло («Мертвое тѣло»), — все это преисполнено комизма, вы хохотете, читая повѣсти г. Слѣпцова, какъ вы не смыслись

со временемъ Гоголя, но да же смѣха вы не идете. Факты, выставляемые г. Слѣпцовыми, или слишкомъ мелочны, или слишкомъ случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, и тѣмъ болѣе, что гоняясь слишкомъ за комизмомъ, въ которомъ и безъ того нѣтъ недостатка у г. Слѣпцова, писатель впадаетъ на каждомъ шагу въ явную утрировку, вслѣдствіе которой очерки еще болѣе теряютъ въ значеніи истинныхъ фактовъ народнаго быта. Такую утрировку вы видите, напримѣръ, въ разсказѣ «Свина», гдѣ г. Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутьѣздить на людяхъ, и разсказываетъ, какъ, подъ вліяніемъ этихъ слуховъ, бабы начали бить горшки и вскаку посуду. Что народъ, даже и не крестьянскій, а нѣсколько повыше, способенъ повѣрить всякому слуху, какъ бы онъ ни былъ нелѣпъ, это не рѣдкость, но есть всему известная мѣра, и битье горшковъ бабами прибавлено писателемъ, повиданому, ни для чего иного, какъ ради краснаго словца. Столъ же пересолена въ «Мертвомъ тѣлѣ» та сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнѣмого мертвѣца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги, и не рѣшаются подойти къ нему. Я полагаю, что крестьянамъ такъ часто приходится имѣть дѣло съ ошившимися до полусмерти, что такое явленіе не составляетъ для нихъ особой новости, они порядки эти отлично знать, и первое, что естественно могло прийти имъ въ голову послѣ исчезновенія покойника — это скорѣе всего то, что мнѣмый покойникъ былъ просто слишкомъ выпившій и потому отрезвившійся человѣкъ. Къ тому же писатель опустилъ тотъ простой фактъ, что суевѣрный страхъ разыгрывается преимущественно ночью и въ одиночествѣ, днемъ же и въ толпѣ онъ далеко не можетъ имѣть такого характера, какой вы видите въ разсказѣ. Комедія искаженного потерила бы смѣхоторного эффекта, еслибы писатель выбросилъ всѣ разсужденія о ходящихъ покойникахъ, которая тутъ вовсе не къ мѣсту, но за то выиграла бы въ естественности развитія сюжета.

V

Г. Рѣшетниковъ, хотя не обладаетъ и половиною таланта г. Слѣпцова, но за то относится къ своему дѣлу гораздо серьезнѣе. Въ своихъ Подлиповцахъ онъ рисуетъ бытъ восточныхъ нашихъ и породцевъ. Люди эти стоять на степени развитія неизмѣримо низшей, чѣмъ всѣ *невѣжественные мужики* г. Успенского; у нихъ до сихъ поръ еще сохраняется фетишизмъ въ самой грубой его формѣ; они болѣе звѣроловы, чѣмъ землемѣльцы; они и не подозрѣваютъ о существованіи мѣра да же деревни; имъ и въ голову не приходитъ, что они живутъ въ огромномъ и благоустроенномъ государствѣ. Г. Рѣшетниковъ не утаиваетъ ихъ дикости, невѣжства, и здѣсь вы дѣйствительно видите людей, для которыхъ, по выражению г. Успенского, усло-

сій и законовъ гражданской жизни не существуетъ. Но выставляемъ цѣлый рядъ комическихъ положеній, въ которыхъ становятся героями этого быта — Пила и Сысоѣка, г. Рѣшетниковъ не забываетъ, что онъ имѣть дѣло не съ основными чурбанами, а съ людьми. На самой высшей степени развитія, на которой люди ничѣмъ почти не отличаются отъ звѣрей, г. Рѣшетниковъ сумѣлъ уловить тѣ человѣческія чувства и стремленія, которыхъ руководятъ въ жизни и тебѣ, высокообразованный читатель. Эти чувства и стремленія, въ связи съ обстановкою, въ которой живутъ герои, и изъ которой рвутся они со всемъ энергией дикарей, составляютъ трагическій элементъ разсказа, который, соединясь съ комическими сторонами, производить на васъ потрясающее впечатлѣніе: вы не можете ограничиться здѣсь однимъ смѣхомъ, что вотъ молъ, ха, ха, ха!... какіе идіоты и уроды существуютъ на свѣтѣ среди такихъ развитыхъ и умныхъ людей, какъ я... Вы чувствуете глубокое сочувствіе къ этимъ уродамъ, потому что вы видите въ нихъ братьевъ своихъ по человѣчеству, вамъ жалко ихъ, вы страдаете ихъ страданіями и возвышаетесь за нихъ всею душою... На первыхъ страницахъ передъ вами открывается такой бытъ, въ средѣ втораго вы, конечно, и заподозрить не можете какихъ либо такъ-называемыхъ возвышенныхъ чувствъ, которыхъ составляютъ гордость нашей цивилизованной жизни: какія тутъ возвышенныя чувства, когда люди только и думаютъ о томъ, какъ бы не помереть съ голоду; а между тѣмъ посмотрите, какъ и въ этомъ быту пробиваются истинно человѣческія отношенія, которыхъ, что грѣха таить, не всегда можно встрѣтить и въ цивилизованномъ обществѣ.

«Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работящій. Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понимъ, что ничего не дѣлая жить нельзя; онъ какънибудь старался пріискать себѣ работу, сбыть ее, а главное, *услужить своимъ подлипосцамъ*. Назадъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ, хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рекѣ, самъ простудился, и, пролежавъ два мѣсяца, обѣднѣлъ до того, что ему съ семействомъ привелось Ѳѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было Ѳѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила пособралъ у подлиповцевъ надѣланнаго кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоянаго двора и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило сѣѣздить за сто верстъ; онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ собирать ради христа и потому дѣлился съ подлипосцами. Своимъ подлипосцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: «чего

сидите, робъ; я буду робить», и подлиповцы работаютъ съ Пилой; вѣтъ Пилы—подлиповцы лежать. Скажеть подлиповцамъ: «смотри, траву надо косить», здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо траву косить, подлиповцы не догадаются. Всѣ подлиповцы любили Пилу и каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ полечить, такъ-какъ Пила лечиль больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толка въ травахъ».

Половыя отношенія въ томъ быту сточть повидимому почти на степени скотскаго удовлетворенія чувственности, а между тѣмъ и въ этомъ отношеніи г. Рѣшетниковъ съумѣлъ подмѣтить и очерить чисто человѣческія чувства, которыя дѣлали бы честь и сажими высокообразованнѣмъ людямъ: «Наконецъ Пила и Сысойка уѣхали въ томъ, что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче.

«Апроська умерла, убилась. А г-то почто живу!» думали Пила и Сысойка.

— Пила, заруби меня! сказалъ Сысойко.

— Э!... ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотелось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойко!... Поѣдемъ, говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшамъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!...

— Багачество... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе! Пила заплакалъ.

Сысойко изругался; въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь—на все, чего онъ не понималъ...»

И вотъ пошли они изъ своей бѣдной, голодной земли искаль богачества, а вмѣсто того нашли смерть подъ ярмомъ какого-нибудь, неблагодарнаго труда въ далекой сторонѣ.

Умѣть подъ грубою сермягою отличить бѣеніе человѣческаго сердца, проникнуться радостами и горемъ простаго человѣка, перестрадать вмѣстѣ съ нимъ всѣ его страданія — вотъ чего не достаетъ гг. Успенскому и Слѣпцову и чѣмъ богатъ г. Рѣшетниковъ.

Но, съ другой стороны, если мы будемъ разбирать разсказы г. Рѣшетникова съ точки грѣнія того вопроса, о которомъ мы бесѣдуемъ въ этой статьѣ, то мы все-таки не можемъ назвать эти разсказы вполнѣ народными. Они даютъ вамъ богатый этнографическій и художественный материалъ, но въ то же время они знакомятъ васъ съ однимъ только уголкомъ нашей жизни, да и то преимущественно не русской, а тѣхъ восточныхъ ино-родцевъ, которые едва только приняли русскій языкъ. Всѣдѣствіе этого они далеко не вмѣютъ общепроизводственнаго значенія, интересъ ихъ частный, и, прочтя разсказы, вы все-таки не составите еще полнаго понятія нѣтолько о русской жизни вообще, но и о жизни бурлаковъ, которую они, между прочимъ, описываютъ. Для удостовѣренія въ этомъ прочтите рядомъ съ «Подлипов-

цами» «Торговую Волгу» Зарубина. Въ послѣдней вы откроете такія черты жизни бурлаковъ, которыхъ вы не найдете въ «Подлиповцахъ», и наоборотъ.

Такое же умѣнье заглядывать въ сердце мужика вы найдете во многихъ очеркахъ г. П. Якушкина. Въ объективномъ отношеніи г. Якушкинъ не идетъ далѣе конкретныхъ фактovъ, случайно подмѣченныхъ имъ въ его странствіяхъ по землѣ русской; онъ не идеализируетъ русскаго мужика, не скрываетъ его недостатковъ, но рядомъ съ ними онъ умѣеть подмѣтать проблески и зачатки той новой жизни, которая раньше или позже можетъ развѣсть на русской землѣ. Возьмемъ для примѣра разсказъ «Небывальщина». Въ разсказѣ вы видите рядъ фактovъ, сообщенныхыхъ безъ всякихъ затѣй, какъ дорожныя наблюденія автора, въ достовѣрности которыхъ трудно усомниться.

Приставши къ партіи мужиковъ, Ѳихавшихъ совершать воровскую порубку казеннаго лѣса, писатель началъ, конечно, упрекать ихъ, зачѣмъ они занимаются воровствомъ, и вотъ какія разсужденія услышалъ онъ отъ нихъ:

— Ты долженъ возвѣстовать! заговорилъ убѣдительно старикъ, одинъ изъ обоза: — ты это возвѣстуй: кто работаетъ, тому за работу, за его потъ значить, и платы идеть. Вотъ, въ примѣру, пахатьбу взять: ты вспахалъ, взбороилиъ, засѣялиъ — опять запахалъ; ждешь цѣлый годъ, чтѣ Господь зародитъ. Зародитъ Господь — не вотъ возьмешъ!... А ты ее въ самое горячее времечко сожни, сважи, да въкопны положи... Вотъ ежели тѣ копны взять — кража!... За эту кражу передъ Богомъ отвѣтъ долженъ будешь держать!... Для того долженъ будешь отвѣтъ держать, что здѣсь, на той копнѣ, потъ, кровь человѣчья лежитъ... Я работалъ, трудился, ночей не досыпалъ, а ты взялъ ее, матушку, и поднялъ! Моя слезы на тебѣ взыщутся!... А лѣсь, ты говоришь? Кто его садилъ? Богъ. Кто его берегъ, ростиль? Все-таки Богъ!... Такъ ты не могъ говорить, что твой лѣсъ: лѣсъ божій!... Спроси у стариковъ: «Чей лѣсъ?» — «Лѣсъ вѣтхій!» скажутъ тебѣ тѣ старики.

Если смотрѣть съ точки зрѣнія г. Н. Успенскаго, то въ подобномъ разсужденіи вы, конечно, ничего не увидите, кроме невѣжественными мужиками никакихъ условій гражданской жизни. Если же вы вдумаетесь въ него поглубже, вѣсть поразить логика его. Откуда взялась эта логика? Является ли она необходимымъ, естественнымъ результатомъ трудовой жизни, на какой бы низшей степени развитія ни стояла эта жизнь? есть ли это рѣдкіе проблески мысли немногихъ умовъ? Фактъ, представлenny г. Якушкинымъ, слишкомъ конкретенъ; писатель самъ смотрѣть на него, какъ на нечто необычайное, какъ на небывальщину. Его поразила встрѣча съ такимъ фактомъ, какъ съ чѣмъ-то такимъ, чего доселѣ онъ не встрѣчалъ въ народномъ быту. Слѣдовательно, на основаніи одного этого факта

трудно дѣлать какие-либо выводы. Но за то все это отлично показываетъ, какъ мало извѣстна намъ народная жизнь. Очень можетъ быть, что такие факты нерѣдки въ жизни народа; очень можетъ быть, что вся путаница, которая случается иногда при сношенияхъ народа съ другими слоями общества, на половину обусловливается невѣжествомъ народа, на половину проходитъ и отъ той логики въ словахъ старика при порубкѣ лѣса, которая такъ непохожа на официальную логику. Все это мы говоримъ только можетъ быть, потому что наши изучатели народного быта до сихъ поръ еще не привели насъ ни къ какимъ положительнымъ фактамъ и выводамъ относительно предмета ихъ изученія. Намъ остается только пожимать плечами, читая рядомъ съ очерками, въ которыхъ народъ представленъ немнѣющимъ образа и подобія человѣческаго, рассказы въ родѣ «Небывальщина». Съ одной стороны, тупоумныя бабы, которые сами про себя говорятъ: «глупы, батюшка, глупы!», а съ другой — величественный типъ дѣвушки, прощающей своему любовнику его измѣну, и обращающейся къ любовнику въ его сестру родную (см. «Небывальщина». «Совр.» т. CXI отд. I, стр. 20).

На болѣе высшей ступени знаній народной жизни мы должны поставить рассказы г. Левитова. У г. Левитова, какъ у г. Рѣшетникова, вы не найдете ви одного рассказа, въ которомъ бы жизнь народа представлялась съ одной какойнибудь исключительной стороны, со стороны одного невѣжества, или со стороны однѣхъ свѣтлыхъ сторонъ жизни народа. Мракъ невѣжества и суетлія, отношенія бѣдности къ богатству, ума къ глупости, силы къ безсилію, подлости и растѣнія къ молодымъ побѣгамъ всего живаго, здороваго, свѣтлаго, подобно тому, какъ это все чудно переплетается въ непрестанной борьбѣ въ жизни, въ такой же зависимости стоять это все въ рассказахъ г. Левитова. Въ каждомъ рассказѣ вы увидите такимъ образомъ жизнь съ разныхъ ея сторонъ, какъ она есть. Во то же время вы встрѣтите въ этихъ рассказахъ не безразлично-пестреныхъ мужиковъ съ бородами, а рѣзко очерченные типы съ глубокимъ психическимъ анализомъ ихъ. Возьмите вы, напримѣръ, одинъ изъ самыхъ обработанныхъ рассказовъ «Выселки». Въ этомъ рассказѣ писатель представляетъ вамъ такие два типа, которые, по ширинѣ обобщенія, можно назвать не только общенонародными, но и общечеловѣческими. Съ одной стороны представляется вамъ типъ Ивана. Это натура до крайности деликатная, кроткая, миролюбивая, любящая. Это одинъ изъ тѣхъ людей, сколько бы ихъ ни притѣсняли, какъ бы они ни разочаровывались на каждомъ шагу, не перестаютъ любить всѣхъ и каждого братскую любовью. Мрачными, затаенными мизантропами такія личности сдѣлаться не могутъ. Величайшее достоинство, служащее величайшимъ ихъ недостаткомъ въ настоящее время, заключается въ томъ, что они не имѣютъ острыхъ зубовъ, чтобы отгрызаться; вслѣдствіе готовности помочь всѣмъ

и каждому, неизоламатности и беззащитности съ ехъ стороны, люди эксплуатируютъ ихъ на каждомъ шагу совершенно безнаказанно, и вся жизнь этихъ несчастныхъ пасынковъ природы обращается въ безъисходное мученіе. Страннѣе всего то, что, не имѣя силъ отражать нападенія всякаго рода, люди эти обладаютъ иногда невѣроятною силой мужественно сносить всѣ горевыя судьбы и людей, нимало не падая духомъ.

Таковъ Иванъ въ «Выселкахъ». Отецъ его просыпалъ колдуномъ, вѣроятно, за то, что былъ умнѣе всѣхъ на селѣ. Прозвище это перешло и на сына. Ивану нельзя было выйти на улицу, чтобы онъ не былъ встрѣченъ градомъ насмѣшекъ и всякаго рода оскорблений:

«Насмѣшки, снѣжные комья безъ счета сыпались въ Иванову спину; а онъ, бывало, какъ раненый медвѣдь, сгорбится весь и развалистой рысью улепетываетъ отъ толпы, не допытываясь у нея, за что она каждый разъ преслѣдуjeтъ его, какъ хищнаго волка. Только, бывало, когда уже черезчуръ нестерпѣже приходились ему потѣхи односельцевъ, останавливался онъ передъ толпой и толковалъ ей:

— Братцы! Грѣхъ вашъ передъ Господомъ Богомъ будетъ, что вы на крещенаго человѣка, какъ на бѣшеную собаку улюлюкаете!

— Ахъ ты колдунъ-чортъ! орала на него толпа. — Туда же про Господа Бога толкуется! И снѣжные комья сыпались на него все гуще и гуще.

Жена упрекала Ивана за его беззащитность.

— Что это у тебя, Иванъ, заговорила съ нимъ жена, когда онъ, обляпанный отъ волосъ до пать, приходилъ съ улицы въ избу: — ровно и словъ никакихъ для твоихъ обидчиковъ нѣть! Ты бы, чѣмъ мамлить-то съ ними: тае да подтае, да энто-то-тае, отмупиль бы какого нибудь идола, али бы въ правлены иожаловался. Они, можетъ, посмирнѣе бы стали.

«Посмотритъ Иванъ на жену, послѣ этихъ словъ, — во всѣ смиренныя глаза свои поглядѣть, ровно бы дивятся ея великой неправдѣ и скажетъ:

«— Любушка ты моя! Никогда я на словахъ-то рѣчистъ не былъ. Не говорю я съ ними, пожалуй, на словахъ-то: а ужъ лучше стану я лаской съ ними обращаться. Тихостью я, можетъ, полажу какъ-нибудь съ ними, тихостью...

«И такъ-то онъ славно тихостью свою ладилъ съ сосѣдами, что они, бывало, на сходкѣ только и дѣла дѣлаютъ, что вино съ него опиваются, да на него-же каждый день то подводу, то какую-нибудь другую мирскую повинность навалить ухитряются».

Наконецъ и Иванъ не выдержалъ, но весь протестъ его противъ людскихъ неправдѣ ограничился тѣмъ, что онъ ушелъ отъ людей со своимъ семействомъ въ выселокъ.

Совершенно противоположной личностью является передъ нами Петръ Крутой. Человѣкъ практический, дѣятельный, энергич-

ческій, онъ въ то же время весь выился въ одинъ воинъ противъ противъ людей и противъ себя. Куда ни бросаетъ его судьба, онъ нигдѣ не можетъ ужаться съ людьми; отовсюду уносить онъ мрачную ненависть къ нимъ и ожесточеніе. Уже съ дѣтства успѣлъ онъ ожесточиться противъ людей. Какъ ребёнокъ, щедро одаренный богатыми силами, онъ въ младенчествѣ уже обращалъ на себя всеобщее вниманіе, какъ нѣчто необыкновенное, а такъ-какъ народъ по своему умосозерцанію привыкъ во всемъ необыкновенномъ видѣть сверхъестественное, то въ деревнѣ и сложилось убѣжденіе, что лѣшій подмѣнилъ ребенка, подсунувъ матери своего лѣшенка.

«Стать я лишь человѣческую рѣчъ понимать, какъ ужъ люди меня отъ себя гнать начали. Зашушукали они около меня—и свои, и чужіе, кивками да морганиемъ съ болезнью стали на меня показывать, вотъ-де, онъ, ребята, обмыненою-то! Глядите, какіе они—лѣшевы дѣтеныши-то бывають... Примѣчайте!.. Къ ребятамъ, бывало, въ какую-нибудь игру присунешься, тоже отцы ихъ и матери за руку меня возьмутъ и отведутъ отъ нихъ: Петруша, поди-ка, мать тебя вѣльма домой послать, гостинцевъ она тебѣ добыла. Ласково такъ говорять, потому обмыненка боятся всѣ. Пойду я, бывало, отъ ребятокъ, а мужикъ какой отгонить меня, сейчасъ-же на нихъ закричитъ:— я вамъ задамъ, пострѣлы, какъ съ обмынкомъ водиться! Еще пуще лупилъ я своихъ отъ матери большія бѣльмы, глядя и раздумывая, отчего это ребятишки не играютъ со мной, а чего больше про меня другъ съ другомъ шепчутся все? И повадился я тутъ, братецъ ты мой, въ лѣсь ходить; зайду, бывало, въ трущобу какую лѣсную и сижу тамъ, и такъ-то миѣ это въ привычку вошло, что я въ лѣсу ужъ и заночевывать сталъ, потому глядишь тамъ, думаешь, думаешь—и никто тебѣ ни въ чёмъ не мѣшаетъ, никто не сердитъ. Много я въ томъ лѣсу ребачихъ слезъ разронялъ, не то, чтобы отъ обиды какой,—не знать я тогда обидъ,—а такъ, на душѣ было ужъ очень спокойно».

«Такъ и выросъ я, Федоръ Протасычъ, въ лѣсу дубомъ какимъ-то безчувственнымъ. Глядишь иной разъ на людское горе, и смѣешься втихомолку: чтѣ, моль, каково? А чаще того хочется тебѣ каждому божьему человѣку добрыя слова цѣлый день толковать, горькому житию всю кровью своею помочь хочется, а морда-то у меня, не въ мою силу, сама на бокъ гнется, глаза-то насунутся, да вѣсто слезъ, по старинному, въ носъ и упрутся. Упрутся, и думаешь тогда: ничего, моль, переждешь! Я же вѣдь жду. Такъ вотъ, солдатъ, какая моя неволя!»

Изъ этихъ выдержекъ вы можете заключить, какъ рѣзко очерчивается и анализируетъ г. Левитовъ типы своихъ героеvъ. Эти выдержки опредѣляютъ въ то же время весь характеръ рассказовъ г. Левитова: вы видите, что г. Левитовъ изображаетъ ту же грубость нравовъ, невѣжество и суевѣріе крестьянъ, что и г. Успенскій. Эти мрачныя стороны жизни простаго народа

представляются въ очеркахъ г. Левитова еще рѣзче, чѣмъ у г. Успенского: можно-ли представить себѣ что-нибудь безчеловѣч-вѣе среди, въ которой заидываютъ на улицѣ грязью человѣка, не имѣющаго духу отплатить за это туманкой; что можетъ быть ужаснѣе и нелѣпѣе того дикаго сувѣрія, которое заставляетъ родителей въ ребѣнкѣ своемъ воображать подиѣнненнаго лѣшенка. Но г. Левитовъ выставляетъ все это не для того только, чтобы показать, какіе смѣшные пассажики выходятъ иногда на свѣтъ. Въ грубости нравовъ и сувѣріи болѣе ужаснаго, чѣмъ смѣшнаго. Еслибы сувѣріе влекло за собою только такія послѣдствія, что мужики подавали иногда просьбы становыши о летучемъ змѣи, беспокоящемъ ихъ по ночамъ (см. разсказъ г. Н. Успенского — Змѣй), въ такомъ случаѣ нечего было бы особенно и хлопотать о такой ничтожности: но сувѣріе имѣть болѣе серьѣзное вліяніе на жизнь народа: оно обусловливаетъ собою много бѣдъ, которая терпить темный человѣкъ въ своей, и безъ того нера-достной жизни, и великое преимущество г. Левитова передъ г. Н. Успенскимъ заключается въ томъ, что, не ограничиваясь однимъ смѣхомъ надъ невѣжествомъ и сувѣріемъ, онъ старается раскрыть передъ вами, какъ терпать и гибнуть отъ этихъ мрач-ныхъ сторонъ народной жизни молодыя, свѣжія силы, рвущіеся на широкій просторъ.

Но представляя замѣчательно-глубокое знаніе народной жизни, очерки г. Левитова сильно страдаютъ отъ полнаго отсутствія обработки: писатель представляетъ вамъ факты своего знанія отрывочно, по ключамъ, размазывая ихъ безконечными описа-ніями природы, приправленными сентиментальными воскликаніями о величественной красотѣ южныхъ степей. Ни одного почти разсказа не найдете вы, который былъ бы вполнѣ законченнымъ цѣлымъ; вы видите постоянное стремленіе со стороны писателя создать что-то такое изъ тѣхъ богатыхъ материаловъ, которыми онъ владѣеть, и въ то же время, какое-то странное безсиліе.

VI.

Въ ряду нашихъ народныхъ писателей, видное мѣсто за-нимаетъ г. Островскій. Его комедіи, въ свою очередь, стра-даются односторонностью. Онъ ограничился изученіемъ одной только стороны быта народа: нравовъ нашего купечества; да и въ этомъ ограниченномъ кружкѣ онъ не идетъ далѣе ана-лиза семейныхъ отношений. Это ограничение однимъ анализомъ семьи есть печать, наложенная на комедіи г. Островскаго тѣмъ временемъ, въ которое протекли лучшіе годы писателя. Въ 40-ые и 50-ые годы, когда общественной жизни, общественныхъ интересовъ не было почти никакихъ, когда все было заперто въ тѣсный кругъ семейной жизни, наши писатели главное свое вниманіе обращали на анализъ семейныхъ началъ. Это же самое мы видимъ и въ комедіяхъ г. Островскаго. Ограни-

чивши свое творчество анализомъ семейныхъ началь, г. Островскій и въ этомъ кругѣ сдѣлалъ для себя новое ограничение: онъ избралъ предметомъ своихъ комедій проявленіе семейнаго самодурства и различныя страданія, которыхъ терпѣть домочадцы отъ Титовъ Титычей и Кабанихъ. Такое узкое ограниченіе рамокъ творчества ничему не мѣшаетъ въ драмахъ, въ родѣ «Грозы» или «Свои люди сочтены», но когда г. Островскій сдѣлается втиснутъ въ эти же самыя рамки сюжетъ народнаго разсказа, обнимающій жизнь неизмѣримо шире и глубже, тогда узкость рамокъ дѣлается болѣшимъ недостаткомъ, бросается въ глаза и драма обращается въ пародію. Я говорю о драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется». Эта драма основана на народномъ разсказѣ, замѣчательномъ по своей глубинѣ. Въ народѣ ходить нѣсколько такихъ разсказовъ, легендъ и пѣсень, которыхъ ждутъ своего Гёте для созданія русскаго Fausta. Основаніемъ этихъ разсказовъ служить одинъ изъ роковыхъ вопросовъ жизни: вопросъ о невозможности удовлетвориться узкою сферою одной семейной жизни и о стремлѣніи человѣка вырваться изъ этой сферы на просторъ. Стремлѣніе это проистекаетъ изъ того свойства человѣческой природы, что единій элементъ его, самый необходимый, можетъ быть обращенъ во зло и гибель человѣка, если онъ возьметъ перевѣсь надъ всѣми прочими и человѣкъ будетъ стараться всю свою природу втиснуть въ эту преобладающій элементъ. Семейное начало构成ляетъ необходимый элементъ въ жизни человѣка, но скончите всю жизнь человѣка въ тѣсную сферу семейнаго круга, лишите въ то же время человѣка всякой общественной дѣятельности, въ которой былъ бы выходъ честолюбію, самолюбію, чувству братства — и та же семья, которая могла бы въ другомъ случаѣ служить отрадою для человѣка, сдѣлается его тюрьмою. Въ этомъ отношеніи, положительно можно сказать, что только толькъ человѣкъ можетъ быть хорошимъ, надежнымъ семьяниномъ, для котораго семья не构成ляетъ исключительнаго интереса жизни, который, сверхъ того, имѣеть другие интересы высшіе, всеобъемлющіе. Если же такихъ интересовъ у человѣка нѣть, то положеніе его въ семье становится крайне неустойчивымъ; хотя семейные наклонности его будуть и удовлетворены, но у него останется цѣлый рядъ неудовлетворенныхъ страстей, которые будутъ искать своего выхода; человѣкъ постоянно будетъ чувствовать въ своей груди какого-то демона, который будетъ таинить его изъ семейнаго круга на какой-то широкій просторъ, на что-то праздничное, шумное, полное жизни и движений... Вотъ вслѣдствіе такого стремленія такъ часто бываютъ случаи, что живеть человѣкъ вполнѣ, повидимому, счастливо въ своемъ семейномъ кругу, наслаждается жизнью чуть что не райской, и вдругъ этотъ семейный рай дѣлается для него мрачною тюрьмою, ему становится противно смотрѣть на стѣны своего дома, и онъ пускается въ какой-нибудь дикий разгуль, или бросается

въ новую любовь, въ которой надѣется найти то, чего не нашелъ въ старой. Народъ нашъ, на каждомъ шагу встрѣчаясь съ явленіями подобного рода, сложилъ про нихъ множество рассказовъ. Героемъ этихъ рассказовъ постоянно является удалой молодецъ, который не хочетъ поступать по старымъ отеческимъ законамъ, не хочетъ повиноваться своимъ родителямъ, онъ стремится жить по своей буйной волюшкѣ. И вотъ, пренебрегши всѣми родительскими увѣщаніями, безъ родительского благословенія, идѣть, куда глаза гладятъ, искать лучшей доли. Таковъ купеческий сынокъ Савва Грудчинъ: промотавши отцовскія деньги, прельстивши жену своего благодѣтеля, онъ продаетъ потомъ душу чорту и вмѣстѣ съ нимъ, подобно Faусту, лѣтаетъ по свѣту на коврѣ-самолѣтѣ, ища различныхъ приключеній. Таковъ герой повѣсти о Горѣ-влюстрии, путешествующей по бѣлому свѣту, вмѣстѣ съ нуждою. Проведя своего героя сквозь дній разгуль вырвавшихся на волю страстей, народъ приводитъ героя къ концу разсказа къ расканнію; но это расканніе является обыкновенно не въ видѣ возвращенія подъ мирный семейный кровъ: герой находить убѣжище въ монастырѣ. Мы просимъ читателя вдуматься въ философію этого исхода. Монастырь, въ глазахъ народа, постоянно служить единственнымъ выходомъ изъ узкой сферы семьи, и въ то же время, общественнымъ служенiemъ, выше, идеальнѣе котораго народъ не можетъ себѣ представить. Какого-нибудь другаго выхода, кроме монастыря, раскольничьяго скита, пустыни или страннической жизни по сватынямъ въ глазахъ народа нѣть. Вотъ въ этомъ отношеніи было бы весьма полезно воспользоваться этимъ богатымъ сюжетомъ, столь знакомымъ народу, для того, чтобы освѣтить его анализомъ тѣхъ новыхъ идей, которыи внесены въ наше общество, и представить новый выходъ для героя, сообразно потребностямъ нашего времени. Посмотрите теперь, что сдѣлалъ писатель, втиснувши этотъ сюжетъ въ узкія рамки вопроса о семейномъ самодурствѣ. Герой этого разсказа, Петръ Ильичъ, купеческий сынъ, встрѣтилъ на пути, на постояломъ дворѣ, мѣшанскую цѣвушку, влюбился въ нее, увезъ ее отъ родителей и женился на ней. Чѣдѣ, казалось, могло помышлять семействному счастью его: молоденькая, хорошенькая жена души въ немъ не чаяла, добра было у него вдоволь; но вдругъ все это — и жена, и добро, и домъ цѣлый — опостылѣли ему. Онъ бросился въ буйный кутежъ, полюбилъ Грушу, дочь содергательницы постоялого двора и, чтобы склонить ее на любовь, вздумалъ сказываться холостымъ; когда потомъ истинна вышла наружу, онъ вознамѣрился убить свою жену.

Вы посмотрите, какой это прекрасный сюжетъ для трагедіи. Какую глубокую трагическую коллизію могъ бы представить писатель, еслибы онъ выставилъ человѣка по натурѣ своей съ хорошими задатками; человѣкъ этотъ искренно стремится сдѣлаться добрымъ семьяниномъ, но онъ несчастенъ тѣмъ, что въ

груди его вспять богаты силы, которых разутся на просторье. Оть силь не радъ тѣмъ бурнимъ страстямъ, которыхъ поднятаются въ немъ; севъ прогниаетъ себя, борется противъ нихъ, но онъ, какъ потокъ вырвавшійся изъ воли, увлекаютъ его и приводить къ цѣлому ряду преступлений за немыслимъ никакого другаго разумнаго выхода для этихъ страстей. Передъ вами былъ бы злодѣй, но вы сочувствовали бы этому злодѣю, вы бы глубоко задумались надъ его судбою. И что же сдѣлать г. Островскому изъ этого сюжета чисто шекспировскаго? Онъ представилъ въ лицѣ Петра Ильича дикаго самодура, который кутитъ, измѣняетъ женѣ, чуть не губить дѣвушку—такъ зря, изъ одной самодурской прихоти, а подъ конецъ приходитъ къ слѣдующему показанію:

Петръ (озирается). Кто тутъ? Что вы за люди? Жева? Живые вы люди, или вѣты? Скажите мнѣ ради-бога.

Даша^{*}. Что съ тобой?

Петръ. Не стою я, окаянный, чтобы глядѣть-то на вѣсть! Да и не глядѣль бы, кабы не чужія молитвы. Простите меня, добрые люди, ради Господа! (становится на колѣни).

Агафонъ^{**} (подымая сю). Что ты, что ты? Петръ Ильичъ! Встань, встань!

Петръ. Я вѣдь грѣшникъ, злой грѣшникъ! Ужъ я покаялся передъ вами, легче мнѣ будетъ на душѣ моей. Вотъ до чего гульба-то доводитъ: я вѣдь хотѣлъ жену убить... безвинно убить хотѣлъ. Взялъ я тутъ, пьяный-то, ножикъ, да и вду будто за нею. Мерещатся мнѣ разныя диковины, да люди какіе-то незнакомые, я за ними... я за ними... Спрашиваю: гдѣ жена? Они смыаются, да куда-то показываются. Я все шелъ, шелъ... вдругъ гдѣ-то колоколь... Я только-что поднялъ руку, глазу, я на самомъ-то юру Москвы-рѣки стою надѣть прорубомъ. Вспомнить-то страшно! И теперь морозъ по кожѣ подираетъ! Жизнь-то моя, прошлая, распутная-то, вся вотъ, какъ на ладонкѣ, передо мною! Натерпѣлся я страху, да и подѣломъ! Вспомнилъ я тутъ и батюшкины слова, что хожу я злодѣй надѣть пропастью. Вотъ они, правдивыя-то слова. Такъ оно и вышло! Ужъ не забыть мнѣ этой ночи, кажется, до самого гроба! Батюшка, матушка, поживите у насъ!.. Помогите мнѣ, добрые люди, замолить этотъ грѣхъ... Да и къ батюшкѣ-то склоните, скажите ему... силь-то я не смыю идти.

Всѧ. Помоги тебѣ Богъ!

— Агафонъ. Что, дочка, говориль я тебѣ!

— Даша (бросаясь къ Петру). Голубчикъ, Петръ Ильичъ!

— Такое окончаніе драмы придаетъ ей характеръ мѣщанской узенькой морали. Послѣ трогательного исправленія сбившагося съ пути

* Жена Петра.

** Отецъ Даши.

героя и нравоучительного поучения передъ закрытиемъ занавѣси, зрителю только и остается, что сердобольно вдохнуть и отправляться домой съ умиленнымъ сердцемъ и обѣщаніемъ никогда отъ жены на сторонѣ не гулять и родителямъ повиноваться. Очень можетъ быть, что народный разсказъ, послужившій г. Островскому сюжетомъ драмы, имѣть такое же заключеніе. Но писатель не долженъ быть упускаетъ изъ виду, что народныя легенды составляютъ общее достояніе всего народа; каждый рассказчикъ по своему разумѣнію можетъ передѣливать легенду, сообщать ей болѣе или менѣе широкое значеніе, и извлекать изъ нея мораль, соответствующую большей или меньшей узкости своего мышенія. Всѣдѣствіе этого каждая легенда, сохранившая основной мотивъ, ходить по народу въ различныхъ вариантахъ, при чмъ очень часто истинный, глубокій смыслъ легенды въ устахъ скудоумныхъ рассказчиковъ совершенно теряется и легенда пропитывается какою нибудь мелкою, ходачею моралью. Художникъ, желающій основать свое произведеніе на народной легендѣ, очевидно долженъ взять эту легенду въ ея чистотѣ и глубоко-философскомъ видѣ. Хорошъ бы былъ бы Гёте, еслибы онъ, не вдумавшись въ философскій смыслъ легенды о Faustѣ, изобразилъ бы въ лицѣ Fausta тагъ себѣ кутилу и весельчака, продающаго свою душу Мефистофелю рода простаго желавшаго веселѣе кутнуть въ своей жизни; а вѣдь въ устахъ многихъ рассказчиковъ легенда о Faustѣ не имѣть другаго значенія, бромъ узкаго смысла житейской морали.

Но, выставляя на видъ, въ какой просакъ можетъ быть поставленъ писатель, если онъ, ограничивши свое творчество очень узкимъ кружкомъ, возьмется за сюжетъ, содержаніе которого обнимаетъ жизнь неизмѣримо шире и глубже, я спѣшу предупредить читателя, что это справедливо только по отношенію къ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется»; въ другихъ же своихъ комедіяхъ и драмахъ г. Островскій стоитъ на твердой почвѣ, потому что онъ избираетъ сюжеты, которые вполнѣ соответствуютъ тому ограниченію, которое онъ для себя избралъ. Это ограниченіе принесло даже свои выгоды писателю: отмѣривши себѣ небольшой уголокъ жизни, писатель могъ изучить этотъ уголокъ гораздо добросовѣстнѣе и тщательнѣе, чмъ еслибы онъ изучалъ сразу всю жизнь во всей ее сложности. Всѣдѣствіе этого г. Островскій успѣлъ въ своемъ кружкѣ сдѣлать такія обобщенія, до которыхъ немногимъ удавалось доходить изъ нашихъ народныхъ писателей. Всѣ сюжеты драмъ его представляютъ не конкретныя случайности, а общія явленія купеческой жизни на Руси; личности, выводимыя имъ на сцену, не простыя фотографіи отдѣльныхъ людей: — это типы, выѣщающіе въ себѣ цѣлый рядъ людей, того или другого рода. Прочтите вы, напримѣръ, «Грозу»; не говоря о цѣломъ сюжетѣ, который такъ и напоминаетъ вамъ народныя пѣсни о заѣданіи невѣсту-шего свекровями, ни одной сцены неѣтъ конкретной, случайной,

которая не вызывала бы въ васъ цѣлого ряда воспоминаний о чёмъ-то подобномъ. Вотъ поэтому комедія г. Островского и вижуемся вами народные всѣхъ другихъ произведеній въ народномъ духѣ.

Этото степенью народности единственно только и можно опредѣлить значеніе художественного факта. Въ этомъ отношеніи актъ художественного творчества мы можемъ сравнить съ такимъ актомъ, который, повидимому, совершиено противоположенъ ему; но только, повидимому,— именно съ актомъ собиранія статистическихъ свѣдѣній. Когда вашъ знакомый говорить вамъ, что въ такой-то странѣ очень велика смертность и въ демографіи начнетъ вдругъ приводить такие факты, что вотъ, молъ, въ такомъ-то домѣ умеръ человѣкъ, въ такомъ-то умерло 2, въ третьемъ 3, и этимъ ограничается вся его доказательства, мы имѣете полное право усомниться въ его предположеніи относительно общей смертности въ странѣ. Я вижу только, что въ тѣхъ трехъ домахъ, о которыхъ говорить пріятель, действительно смертность велика, но въ то можетъ быть въ данный только моментъ совершенно случайно; но могу ли я изъ этихъ конкретныхъ фактовъ заключить обѣ общей смертности? Чѣмъ же долженъ сдѣлать статистикъ, чтобы убѣдить меня въ своемъ предположеніи? Очевидно, онъ долженъ представить мнѣ общую цифру смертности всей страны, и тогда, по сравненіи этой цифры съ такими же цифрами въ прежнее время и въ другихъ странахъ, я могу вывести правильное заключеніе о смертности въ странѣ. То же самое можно примѣнить буквально и къ художнику: когда онъ имѣеть дѣло съ какою-нибудь общую причиной, онъ не долженъ забывать того, что такая общая причина непремѣнно вліяетъ на всю массу жизни и производить бездну фактовъ, которые, несмотря на все конкретное разнообразіе, однородны, потому что происходить отъ одной причины. Писатель долженъ обобщать изъ эти факты; онъ долженъ представлять мнѣ живой образъ, въ которомъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивались бы отдѣльные факты, происходящіе отъ общей причины. Такой образъ произведетъ на меня совершенно иное впечатлѣніе; у меня не можетъ въ такомъ случаѣ закрасться и тѣни какого-либо сомнѣнія: я вижу передъ собою явленіе, совершающееся на каждомъ шагу въ жизни, общее явленіе, и не могу же я подумать, что это общее явленіе жизни происходитъ отъ цѣлого ряда какихъ нибудь никакихъ случайностей. Почему производить такое сильное впечатлѣніе произведенія Гоголя, какъ не вслѣдствіе тѣхъ громадныхъ обобщеній, которыя сдѣлалъ онъ: его чиновника и волыщики, это не случайно встрѣтившіеся съ нимъ отдѣльныя личности, съ которыхъ онъ списалъ портреты. Вы видите передъ собою рядъ типовъ, на каждомъ шагу встрѣчающихся въ жизни, и такова сила этихъ обобщеній, что несмотря на то, что Гоголь былъ далеко не такъ развитъ, чтобы осмысливать ихъ и подвести подъ законы и причины, они заставляютъ васъ неизлѣнно задумываться

—самыхъ надъ причинахъ темнѣй явленій, иначе потому что они всеобщи. Таковы и комедіи Островского. Поэтому же самому и трагедіи Шекспира представляются намъ вполнѣ народными: они представляютъ самыя широкія обобщенія англійской жизни своего времени. Но верхомъ народности въ поэзіи для насть, все-таки остаются безъискусственные народныя пѣсни: обобщенія ихъ до такой степени широка, что нерѣдко въ одномъ образѣ, въ одномъ мотивѣ — отъ, какъ въ фокусѣ, соединяютъ жизнь, стремленія, характеръ цѣлой эпохи народной жизни. Изъ этого изъ всего ясно видѣаться, что только народная поэзія можетъ имѣть претензію быть истинно полезною для жизни. Какъ бы писатели ни распинались, подводя конкретные факты подъ общія причины, произведенія ихъ все-таки останутся бездоказательны, они не будутъ производить никакого внушительного впечатлѣнія и будутъ имѣть интересъ чисто анекдотическій, то-есть будутъ служить художественными игрушками для безцѣльного наслажденія, совершенно въ духѣ искусства ради искусства. Если же поэту удастся обобщить жизнь народа, то-есть сдѣлаться народнымъ, то даже въ такомъ случаѣ, если онъ будетъ далеко неразвитъ на столько, чтобы подвести свои обобщенія подъ причины и слѣдствія, произведенія его будутъ полезны для меня: они поразятъ меня общностью явленій, выраженныхъ въ нихъ, заставятъ невольно призадуматься надъ такими явленіями, и я самъ выведу причины и слѣдствія, можетъ быть таіа, о какихъ и не думалъ писатель, когда писалъ свои произведенія.

VII.

До сихъ порь мы говорили о содержаніи художественной литературы, о сущности ея; теперь мы скажемъ нѣсколько словъ о другой ея сторонѣ, вѣнчаней, формальной. Въ то время, какъ въ предшествующія эпохи нашей литературы эту сторону ставили на первый планъ, вадѣли въ ней нерѣдко единственную сущность искусства, въ послѣдніе 10 лѣтъ, по естественной реакціи, начали совершенно пренебречать ею. Составилось мнѣніе, что главная сущность произведенія заключается въ здоровой, свѣтлой идеѣ, а какъ будетъ проведена она — это рѣшительно все равно; хотя бы форма и никакъ не годилась, идея все-таки подѣйствуетъ. Съ точки зрѣнія подобнаго мнѣнія, очевидно, можетъ представиться излишнею роскошью требовать, чтобы произведеніе поэта, будучи народнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, было народнымъ и по формѣ. Въ сущности же, если мы разсмотримъ внимательно, что зависитъ отъ этого требованія, мы увидимъ, что оно не роскошь, что оно не менѣе важно, чѣмъ и другія требованія.

Хотя мы и пренебрегаемъ вѣнчаными формами искусства, однако же, мы требуемъ, чтобы писатели наши писали на русскомъ языкѣ, а не пофранцузски или понѣмецки. Но вѣдь языкъ есть тоже ничего болѣе, какъ вѣнчаная форма рѣчи. Не все ли

равно, на какомъ языкѣ ни напишетъ писатель свое произведение, лишь бы онъ провелъ полезную для насть идею. Да, для Пьера, для Жана это все равно: они знаютъ всѣ европейскіе языки и могли бы наслаждаться «Мертвыми душами» и въ такомъ случаѣ, еслибы Гоголь написалъ ихъ поанглійски. Я убѣждѣнъ въ томъ, что въ Россіи есть люди, которые впервые читали Гоголя во французскомъ его переводѣ. Но все ли это равно для Ивана, для втораго русскій языкъ единственная форма, въ которой понятна для него человѣческая рѣчь? А такихъ Ивановъ большинство. Для нихъ-то и существуетъ русская литература; и она есть полное ихъ достояніе, какъ мы говорили въ началь статьи. Наука, занимаясь открытиемъ въ природѣ новыхъ предметовъ, для которыхъ не существуетъ соответствующихъ словъ въ языкахъ, поставлена въ печальную необходимость ежедневно изобрѣтать свои новые слова и наводняться терминами, которые дѣлаютъ ее доступною только для немногихъ adeptовъ, знающихъ языки. Но если мы прощаемъ ученому, когда онъ издаетъ книгу, хотя и на русскомъ языкѣ, но въ которой для насть нѣть возможности понять ее въ одной фразѣ, то мы не простимъ уже этого популяризатору, который вадумаетъ угостить насть такимъ же языкомъ. Еще болѣе посмѣемся мы надъ безуміемъ популяризатора, если онъ такимъ же языкомъ напишетъ книгу, предназначенную для всего народа. Чѣмъ же сказать о художественной литературѣ, этой популяризаціи всѣхъ ионуляризаций, цѣль которой объяснять народу его жизнь, прояснить въ немъ сознаніе его истинныхъ потребностей, возбуждать въ немъ хорошие нравственные инстинкты и открывать мрачны стороны его жизни—и вдругъ такая литература будетъ говорить языкомъ, понятнымъ только для немногихъ? Такая литература мало того, что бесполезна, она преступна и безчестна совершенно въ томъ же смыслѣ, въ какомъ можно взвѣтъ поступокъ мой, если я на деньги, порученные мнѣ несколькими знакомыми для покупки имъ чая, вупилъ бы вдругъ табаку, пригоднаго для одного меня.

Но требование, чтобы художественная литература употребляла языки, доступный для всѣхъ, т.-е. избѣгала бы иностраннѣхъ словъ, отвлеченныхъ, туманныхъ выраженій и ученыхъ терминовъ, которыми такъ богатъ нашъ литературный языкъ, еще не обнимаетъ всего вопроса о формѣ. Это требование касается одного состава языка; но есть еще другая сторона языка — его строй, т.-е. формы рѣчи, въ которыхъ складываются слова въ языкахъ, и формы поэтическихъ произведений, въ которыхъ складывается рѣчь. Для того, чтобы поэтическія произведения были доступны для всѣхъ, необходимо, чтобы они писались народной рѣчью и складывались въ народныя формы. Читатель подумаетъ, быть можетъ, что вдѣсь дѣло вдѣть о тѣхъ подражаніяхъ простонародному языку, которыя такъ противны въ которыхъ книжонкахъ, издаваемыхъ для народа? Или ужъ не ста-

вится ли здесь русскимъ писателямъ въ обязанность подражать народнымъ пѣсамъ, былинамъ и сказкамъ? Ни чутъ не бывало. Здесь идетъ рѣчь только о томъ примѣненіи всеобщаго закона относительно формъ поэзіи, который наблюдается во всѣхъ литературахъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Изучая исторію возникновенія и паденія разныхъ формъ искусства, мы видимъ, что формы не суть что-либо опредѣленное, неизменное, для всѣхъ одинаково доступное. Они суть создавія тѣхъ или другихъ особынностей одного какого-либо народа, и при этомъ еще народа въ данную эпоху. Они служатъ обыкновенно выраженіемъ своей народности, своей эпохи, и та же неуклюже привѣтаются къ другой эпохи или народности, какъ гипсовый слепокъ съ одного лица не прилагивается на другое. Попробуйте выразить грусть простаго русскаго человѣка, и вы увидите, въ какой формѣ это вамъ удастся—въ формѣ итальянскаго совета или думы Кольцова. Была такая эпоха въ жизни народа, когда онъ не въчре могъ выражать впечатлѣнія своей жизни, какъ въ формѣ былинъ или сказокъ; это время прошло, народъ начинаетъ забывать самыя былины и, очевидно, было бы верхомъ натянутости и неуклюжести изображать что либо изъ современной намъ жизни въ формѣ былинъ. Это значило бы возвратиться ко временамъ ложнаго классицизма, когда людемъ казалось, что поэзія можетъ существовать только въ неизмѣнныхъ формахъ древне-классическаго искусства. Вслѣдствіе вышеупомянутаго закона предоставляется полная свобода создавать свою особенную форму литературы не только каждому народу, времени, но и каждому поэту, соответственно потребности, чтобы форма вполнѣ выражала содержаніе. Но тѣмъ не менѣе, только тотъ поэтъ можетъ быть названъ вполнѣ народнымъ, который сумѣть выразить свои впечатлѣнія въ таихъ формахъ, въ какихъ они будутъ всего болѣе понятны для большинства и всего болѣе подѣбствуютъ на него. Опредѣлить въ точности, каковы должны быть эти формы, та же трудно, какъ трудно опредѣлить неуловимыя черты, отличающія одну физиономію отъ другой. Возьмите вы, напримѣръ, произведения Кольцова или Шевченки, вы увидите, что они отличаются рѣзко по своей формѣ отъ всѣхъ словесланий нашихъ лириковъ, въ родѣ, напримѣръ, Полонскаго или Фета. Опредѣлить въ точности сущность этого отличія — нѣть никакой возможности, и мы можемъ судить о немъ только по послѣдствіямъ, которые производятъ тѣ или другие произведения: одна пойметъ каждый простолюдинъ, въ другихъ же въ образованѣйшій человѣкъ нескоро доберется смыслу. Но много ли у насъ такихъ произведеній, которые писались бы въ такихъ формахъ, что для всѣхъ были бы понятны? Напротивъ того, наши литераторы очень часто поставляютъ себѣ какъ будто задачею выражаться какъ можно крикливѣе, затѣмнѣе и темнѣе; они думаютъ, что въ этомъ-то и есть вся суть поэзіи. Конечно, языкъ боговъ не долженъ быть понятенъ для простыхъ смертныхъ. Другое

дѣло было бы, еслибы къ этому вынуждала нашихъ поэты и балетристовъ печальная необходимость, еслибы идеи ихъ были бы до такой степени глубоки, всеобъемлющи, новы, что изъ труда было бы вполнѣ ясно выразить въ простыхъ формахъ нашего языка. Но въ томъ-то и дѣло, что большинство нашихъ балетристовъ и поэтовъ страдаетъ самими жаждемъ убожествомъ идей. Мироусерцаніе ихъ очень мало возвышается надъ уровнемъ обыкновенныхъ грамотныхъ идей. И если поэты съ тѣхъ широкимъ и глубокимъ мироусерцаніемъ, каковъ былъ Шевченко, могъ свои идеи выражать просто и общедоступно, то чѣмъ остается сказать о нашихъ поэтахъ, которые свои бѣднѣши и обыденныи мысли не могутъ выражать такъ, чтобы изъ можно было понимать всѣмъ и каждому? Главной виной служатъ тутъ тѣ риторическія, рутинныи витеватыи троны и фигуры, которыхъ почему-то считаются у насъ верхомъ художественной красоты и изящества. Сказать просто *родина* — это можно: это прозаически и безцѣльно; нашъ поэтъ захочетъ непремѣнно какіе нибудь *берега отчизны*, и думаетъ, что это гуманное, безмыслиенное выраженіе выше, поэтичнѣе. Возьмите, напримѣръ, Полонского: онъ написалъ стихотвореніе *Былъ*, и этимъ стихотвореніемъ доказалъ, что онъ можетъ писать просто народной рѣчью. И этотъ же самый Полонскій большую часть своей поэтической дѣятельности посвящаетъ на отысканіе такихъ штукъ:

Мнѣ не дать Богъ бича сатиры;
Моя душевная трога
Едва слышна отъ аккордахъ лары
Едва видна моя слеза.
Ко мнѣ видимыя прилетаютъ (?!),
Мнѣ звезды пишутъ мѣной призыва,
И мнѣ немногіе внимаютъ,
И для немногихъ я поэтъ.

Да, г. Полонскій, дѣйствительно, для немногихъ поэты, но не потому, что Богъ не дастъ ему какой-то пlettesи, а потому, что онъ говорить языкомъ, ни для кого непонятнымъ; онъ правъ, говоря, что *слышимъ словъ это не слушаютъ народы* — еще бы, когда вѣсто того, чтобы заговорить простымъ языкомъ простымъ смертнымъ обѣихъ простыхъ интересахъ, поэтъ бредить о какихъ-то аккордахъ лары, которую никто изъ насъ, и даже самъ поэтъ не видѣлъ въ глаза, какая она такая; о какихъ-то видѣніяхъ, которыхъ никогда къ нему на самомъ дѣлѣ не прилетаютъ, если только онъ не боленъ въ бѣлой горячкѣ; даѣте поэтъ въ своемъ стихотвореніи доходить до такого изнуршенія, что пространство трепетныхъ объятій въ воздухѣ и внемлеть, какъ въ области вѣтнаго разума какая-то живая любовь торжественно поеть живиъ о жизни. Въ «Бѣгломъ» вы не увидите ничего такого, что г. Полонскому кажется непремѣнно принадлежностью поэзіи; «Бѣглаго» могутъ внимать народы и понимать всѣ, и въ «Бѣгломъ»

ненемнѣримо болѣе истинной, живой, евѣжей поэзіи, чѣмъ во всѣхъ прочихъ галлюцинаціяхъ г. Половинаго, взятыхъ вмѣстѣ.

VIII.

Выставляя такія требования оть литературы, вполнѣ естественные и сугубоединые, я никакъ этими не отрицаю тѣхъ художественныхъ произведений, которыя пишутся исключительно для одного образованнаго меньшинства, если только они полезны этому меньшинству. Я никакъ не думаю, чтобы это меньшинство было на столько уже образовано, чтобы ему нечemu было учиться, или чтобы жизнь его была вполнѣ и со всѣхъ сторонъ исчерпана литературой. Все, что дѣлается въ жизни полезного, хотя бы для одного человѣка, есть уже полезное и достойно уваженія. Мы требуемъ оть человѣка, чтобы онъ посвящалъ свою дѣятельность на общую пользу всему своему краю, но тѣмъ не менѣе всякий добрый поступокъ его, оказанный одному ближнему, внушаетъ намъ уваженіе къ человѣку. Такъ точно мы требуемъ, чтобы литература стремилась сдѣлаться всеобщею, полезною для всѣхъ нашихъ соотечественниковъ; если только она хочетъ, чтобы не были признаны лицемѣрными заявленія ея о томъ, что для нея дороги интересы, нужды, радости и страданія народа, она должна посвятить развѣтію этого народа лучшія свои силы, а не оставлять народъ на жертву разныхъ бездарныхъ писакъ и спекуляторовъ, издающіхъ такъ-называемыя книги для народа; но если взять во вниманіе все прошлое нашей литературы, то мы не должны забывать, что литература можетъ къ этому только стремиться и медленнымъ путемъ изученія достигать этого стремленія. На этомъ долгомъ пути ничто ей не мѣшаетъ быть полезною и для того меньшинства, для котораго она до сихъ поръ служила. Впрочемъ, самая лучшая польза, которую она можетъ оказать этому меньшинству, заключается опять-таки въ стремленіи ея къ народности; потому что этимъ путемъ она ведеть за собою это меньшинство оть его изолированной, замкнутой жизни во всеобщую жизнь края, посвящаю ею въ интересы всего народа. Въ заключеніе спѣшу прибавить то, что всѣ наши стремленія къ народности въ литературѣ служить только прелюдіями къ тому движенію въ этомъ духѣ, которое должно послѣдовать, когда народныя массы, призванные къ политической жизни реформами послѣднаго десятилѣтія, дѣйствительно выступятъ на поприще этой жизни и когда изъ самой массы народа явятся пѣвцы ея нуждъ, стремленій, радостей и страданій. Въ этомъ отношеніи, къ какимъ бы широкимъ обобщеніямъ ни приводили наблюденія надъ жизнью народа, но еще успѣшнѣе пойдетъ это дѣло, когда къ наблюденіямъ присоединяются опыты, и притомъ личные опыты людей, которые сами живутъ жизнью, изображаемою ими.

Читателю покажутся, можетъ быть, слишкомъ кратки и бѣгли вѣкоторыя характеристики писателей, произведенія которыхъ я разбиралъ въ этой статьѣ. О многихъ народныхъ писателяхъ не было иною сказано ни слова; но цѣль моей статьи не подробнѣй разборъ всѣхъ народныхъ писателей нашихъ, а выставленіе тѣхъ общихъ положеній, на основаніи которыхъ, по моему убѣждѣнію, слѣдуетъ оцѣнивать произведенія этого рода. Затѣмъ, при удобныхъ случаяхъ, можно будетъ представлять болѣе полныя и подробнѣя характеристики, какъ отдельныхъ произведеній, такъ и всей дѣятельности того или другаго писателя, пишущаго о народѣ. Такъ, напримѣръ, основываясь на положеніяхъ, высказанныхъ въ этой статьѣ, я попробую разобрать, въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ, рассказы г-жи Марка-Вовчка по случаю выхода новаго изданія ея сочиненій.

А. Скаевичевскій.

НОВЫЯ КНИГИ.

Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія. Опытъ педагогической антропологии. Константина Ушинскаго. Томъ первый. С.-Петербургъ. 1868 г.

Было время (приблизительно въ концѣ пятидесятыхъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ), когда вопросы воспитанія заинтересовали собой русское общество, и имъ посвящено было, кромѣ отдельныхъ статей въ литературныхъ журналахъ, вѣсколько специальныхъ педагогическихъ изданій. Время это миновало довольно скоро, почти на нашихъ глазахъ, и педагогические журналы перелопались одинъ за другимъ съ поразительной быстротою, такъ что теперь «Педагогическій Сборникъ» г. Вес-селя является единственнымъ скучнымъ остаткомъ отъ недавно-обильной педагогической трапезы, единственнымъ, такъ-сказать, педагогическимъ ракомъ на педагогическомъ безрыбьї..... Въ послѣдній разъ прежній энтузіазмъ проявился, кажется, по вопросу о классическомъ и реальномъ образованіи; но съ тѣхъ поръ, какъ въ Москвѣ было убѣдительно доказано, что классицизмъ есть та самая алхимическая панацея, которая можетъ излечивать всѣ личные и общественные недуги людей, а реализмъ, чутъ ве синонимъ измѣнѣ — педагогические дебаты склонились совершенно невозможными, и самые толки о гуманности въ обращеніи съ воспитанниками, о новыхъ лучшахъ мето-